Л. Г. Сухотина

ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Л. Г. СУХОТИНА

ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Томск — 1983

Сухотина Л. Г. **Проблемы русской революционной демократии в современной английской и американской буржуазной историографии.** — Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1983. — 12,3 л. — 1 р. 80 к. 500 экз. 0502000000.

В монографии проведен критический анализ современной английской и американской историографии русского революционного демократизма.

Рассматриваются идейно-теоретические и методологические основы, а также содержание имеющихся трактовок причин появления и своеобразия русской революционной интеллигенции, истоков, специфических черт ее общественной мысли. Освещая традиционные для буржуазной историографии концепции, автор прослеживает их наметившуюся в последнее время эволюцию, которая выразилась в обращении буржуазных историков к новейшим социологическим теориям и психоанализу. В связи с этим предлагается отличная от сложившейся в литературе классификация течений в современной буржуазной русистике.

Для преподавателей, студентов исторических факультетов, всех интересующихся современной буржуазной историографией революционного движения в России.

Рецензент — проф. Л. И. Боженко

Редактор — проф. Б. Г. Могильницкий

$\text{С}\,\frac{0502000000}{177(012)-83}\,17-83$

© Издательство Томского университета, 1983 г.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях усиливающейся идеологической борьбы все большее значение приобретает научная критика современной буржуазной историографии. Эта задача всегда оставалась актуальной вследствие нерасторжимой взаимообусловливающей связи между исторической наукой и идеологией [1]. В настоящее время она обретает особую остроту и злободневность. Буржуазные идеологи, все сильнее утрачивая почву для откровенной апологетики капитализма, по мере углубления его кризиса вынуждены камуфлировать свои истинные цели, прибегая к более тонкой фальсификации прошлого.

Следует учитывать при этом, что буржуазная историография никогда не была пассивной, но всегда имела наступательный характер, пытаясь дискредитировать социализм и таким путем укрепить свои собственные идеологические позиции. Антисоветизм, как главное стратегическое направление антикоммунизма, становится сейчас особенно многоликим и изощренным, проникая во все сферы идеологии и политики буржуазии. Это обстоятельство оказывает непосредственное воздействие на историческую науку, социальная роль которой, по признанию самих буржуазных идеологов, заключается в том, чтобы выработать «руководящие начала» политики [2].

[1] Данная связь обусловлена самой природой исторической науки, призванной формировать историческое сознание общества. «Освободить» историю от идеологии, — пишет Б. Г. Могильницкий, — значит «освободить» ее от самой себя, «лишить ее самого смысла существования как науки, отвечающей определенным запросам общества» (см.: Могильницкий Б. Г. О природе исторического познания. Томск, 1978, с. 135).

[2] Brzezinsky Z. Between two Ages. America's Role in the technotronic Era. N. Y., 1970, p. XIV—XV.

Со времени Великой Октябрьской социалистической революции внимание буржуазных историков оказывается прикованным к истории России, ставшей первым в мире социалистическим государством. При этом с самого начала стремление очернить ее прошлое, чтобы скомпрометировать настоящее, остается одной из важнейших задач буржуазной историографии. Естественно, было бы упрощением объяснять внимание буржуазных историков и политиков к истории нашей страны только этими целями. История России вызывает интерес также и как история страны, впервые воплотившей в практику марксистскую теорию и явившую собой, по их словам, «социальную модель» решения «ключевых дилемм» современного мира [3]. Как появилась эта «модель», в чем заключались ее идейно-теоретические основы и социальные силы, ее создавшие, наконец, главное, каковы реальные перспективы ее дальнейшего развития — вопросы, которые не утрачивают, но, напротив, обретают все большую остроту звучания для идеологов современного капитализма. Данное обстоятельство и определяет в настоящее время активные историографические поиски буржуазных ученых с целью выработать реалистические начала политики в отношении нашей страны на основе более приближенного к действительности освещения ее прошлого. При этом интерес к истории России активизируется по мере развития мирового революционного процесса и роста достижений реального социализма, в котором идеологи буржуазии усматривают главную внешнюю угрозу «жизненным интересам» своих стран.

В кругу проблем современной буржуазной русистики особенно устойчивое внимание исследователей привлекают русская революционно-демократическая мысль и интеллигенция. В их истории буржуазные авторы пытаются отыскать традиции революционной борьбы, приведшие к победе Октября и в конечном счете обусловившие, по их мнению, «появление современной России» [4]. Как утверждает, в частности, влиятельный аме-

---

[3] Ibid, p. 123.

[4] Так назвал свое исследование, посвященное истории передовой русской общественной мысли XIX в., американский историк С. Пушкарев (см.: Puskarev S. The Emergence of Modern Russia. 1801—1917. N. Y., Chicago, San Francisco, Toronto, London, 1963).

риканский историк Роберт Дэниельс[5], «Россия и сегодня не может быть понята без выяснения тех сил, которые совершили революцию»[6]. В истоках, природе, национальном своеобразии передовой общественной мысли и радикальной интеллигенции России буржуазные исследователи усматривают причины Октябрьской революции, интерес к которой не ослабевает, но, напротив, усиливается по мере того, как революционные изменения все настойчивее вторгаются во все сферы жизни современного общества, принося тем самым неопровержимые доказательства исторического значения Октября и непреходящего характера его влияния на судьбы всего мира. Это безоговорочно признают теперь и сами буржуазные авторы. Американский ученый Р. Уорт утверждает, например, что влияние Октября на XX век значительно более глубоко, чем влияние Великой французской революции на век XIX[7]. По мнению другого американского исследователя, П. Дьюкса, в настоящее время «в мире нет населенного региона, который не оказался бы под влиянием Октябрьской революции»[8].

Теперь, когда история столь решительно опровергла старый тезис буржуазных обществоведов об исключительно национальном характере Октябрьской революции, усилия буржуазных ученых, как это хорошо показано советскими исследователями, сфокусированы на том, чтобы изыскать новые пути и средства дискредитации революции в качестве метода решения социаль-

---

[5] Профессор Вермонтского университета, один из столпов современного антикоммунизма, автор целого ряда работ, посвященных Октябрьской революции и истории России в целом.

[6] Daniels R. Russia. Englewood Cliffs. New Jersey, 1964, p. 60.

[7] Wart R. On the Historiography of the Russian Revolution.— Slavic Review, 1967, v. XXVI, N 2, p. 247.

[8] Dukes P. L. October and the World. Perspectives on the Russian Revolution. London and Basingstoke, 1979, p. 133.

ных проблем [9]. Стремление осветить революцию соответственно своим классовым позициям по-прежнему остается одной из первостепенных задач современной буржуазной историографии и обусловливает ее интерес к духовной истории нашей страны.

В пестром многообразии имеющихся в буржуазной историографии теорий, гипотез и концепций относительно природы Октябрьской революции, среди которых бытуют крайне реакционные оценки, хотя и существенно модифицированные [10], в последние полтора-два десятилетия все более набирает силу направление, суть которого сводится к тому, чтобы изобразить всякую революцию вообще лишь одним из возможных этапов процесса «модернизации», независимо от уровня развития данной страны. При таком упрощенном подходе революции утрачивают свою качественную определенность и предстают лишь как насильственный метод решения тех проблем, которые могут быть с меньшими потерями решены в ходе постепенных реформ. С таких позиций оценивает Октябрьскую революцию, в частности, П. Дьюкс. По его мнению, между всеми революциями, включая и Октябрьскую, существует самое «тесное сходство», поскольку, считает он, «отсутствие насилия даже в условиях мирной модернизации всегда было лишь весьма относительным» [11].

Являясь существенно новыми в сравнении с прежними примитивными «лобовыми атаками» на историю

---

[9] В ряду недавно опубликованных прежде всего заслуживают быть отмеченными работы: Игрицкий Ю. И. Буржуазная советология в современной борьбе идей. — Вопросы истории, 1979, № 11, с. 71—89; Красин Ю. А. Революцией устрашенные. М., 1975; Марушкин Б. И., Иоффе Г. З., Романовский Н. В. Три революции в России и буржуазная историография. М., 1977; Романовский Н. В. Современная буржуазная историография Великой Октябрьской социалистической революции. — Вопросы истории, 1977, № 10, с. 123—142; Соболев Г. Л. Октябрьская революция в американской историографии. 1917—1970-е годы. Л., 1979. Критика основных концепций современной буржуазной историографии трех российских революций. М., 1983.

[10] Сошлемся на слова американского историка Э. Глисона, утверждающего, что с каждым годом «все труднее» оценивать последствия Октября даже в качестве «относительно прогрессивных» (Gleason A. Young Russia. The Genesis of Russian Radicalism in the 1860-s. N. Y., 1980, p. XIII).

[11] Dukes P. Op. cit., p. 50, 75.

русской революции, эти трактовки, однако, также не выходят за традиционные рамки буржуазного исторического мышления и идеологии. Они полностью согласуются с присущей буржуазной историографии интерпретацией исторического процесса в духе плоского эволюционизма и призваны, с одной стороны, на свой манер «объяснить» успехи социалистического строительства в нашей стране, а с другой — умалить историческое значение Октябрьской революции, представив ее неэффективным и дорогостоящим социальным «экспериментом». Эта вторая задача, как и прежде, преследует четко выраженную идеологическую цель: предостеречь политических деятелей от возможных последствий «революционной драмы». «Русский трагический эксперимент,— пишет американский исследователь А. Адамс,— свидетельствует, как важно, чтобы мудрость и государственный подход возобладали над насилием в сложном и деликатном процессе модернизации» [12].

При всех попытках модифицировать свои концепции с учетом духа времени буржуазные ученые не могут радикально пересмотреть собственные трактовки Октябрьской революции, поскольку в этом случае им пришлось бы признать, что она положила начало принципиально новой эпохе общественного развития, создав государство, в основе которого лежат в корне отличные от капиталистических отношения собственности. Очевидно, в этой своеобразной ситуации, ситуации замкнутого круга, в которой оказалась сейчас буржуазная историография Октября, заключаются причины острой неудовлетворенности ее состоянием, испытываемой некоторыми более вдумчивыми исследователями. В частности, в статье, посвященной анализу современной буржуазной историографии русской революции и опубликованной с весьма любопытным подзаголовком «Старое вино в новых бутылках», тот же А. Адамс уныло констатирует, что ни одна из рассмотренных им работ «не создает достаточно широкой основы для выводов, которые бы выходили за рамки небольшого участка сложной мозаики русской революции» [13].

---

[12] Adams A. Introduction to: Imperial Russia after 1861. Problems in European Civilisation. Boston, 1965, p. XIV.

[13] Adams A. New Books on the Revolution. Old Wine in new Bottles. — Russian Review, 1967, v. 26, N 4, p. 398.

В поисках аргументов для доказательства тезиса о том, что Октябрьская революция была лишь малоэффективным экспериментом в процессе модернизации страны, буржуазные авторы обращаются, естественно, не к исследованию конкретных экономических процессов в России с точки зрения их действительного социального смысла и не к обусловленным ими классовым противоречиям и конфликтам. Они пытаются отыскать «корни революции»[14] в своеобразии передовой русской общественно-политической мысли, утверждая, что путь к революции был вымощен в России «брожением интеллигенции». Поэтому, чтобы понять русскую революцию, считают они, надо изучить предшествовавший ей этап революционного движения: идеи, вдохновлявшие ее, и интеллигенцию, осуществившую-де саму революцию. Известный английский историк Э. Карр, например, полагает, что «основы» Октябрьской революции были созданы в передовой социально-политической мысли России XIX в.[15] По мнению другого английского ученого, не менее известного специалиста в области истории русского общественного движения XIX в., а также влиятельного методолога И. Берлина, именно представители «ранней левой» заложили «нравственный фон» для слов и действий, которые господствовали в общественном движении России не только в XIX, но и в начале XX в. вплоть до окончательного финала в 1917 г.[16]

Обращение историков Запада к исследованию «интеллектуальной почвы» периода, предшествовавшего Октябрьской революции, представляется вполне закономерным, так как во всех существующих трактовках исторического смысла революции она неизменно изображается в качестве примера недемократического, осуществленного лишь силами интеллигенции политического переворота. Этот вывод неизбежно приводит буржуазных исследователей к поискам «генетических кор-

---

[14] Под таким заглавием была переиздана на английский язык работа итальянского историка Ф. Вентури «Русское народничество» (см.: Ventury F. Roots of Revolution. A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth-century Russia. N. Y., 1960).

[15] Carr E. Studies in Revolution. N. Y., 1964, p. 89.

[16] Berlin I. Russian Thinkers. London, 1978, p. 115.

ней» революции в идеологии русской революционной интеллигенции, ее мировоззрении, социально-политических взглядах и действии.

В последнее время интерес к русской революционной демократической мысли и интеллигенции обретает ряд новых стимулов. Их история привлекает внимание буржуазных ученых и политиков в качестве «раннего примера» процессов и событий, происходящих сейчас в развивающихся странах[17]. Как отмечает английский исследователь Г. Сетон-Уотсон, Россия была в числе первых стран, поставивших одну из острейших в наше время проблем «неразвитых обществ»— проблему революционной интеллигенции[18].

Столь же, если не более важным стимулом, возбуждающим острый интерес современных буржуазных ученых к истории русской передовой общественной мысли и ее носителям — деятелям революционно-демократического движения, является рост оппозиции прогрессивной интеллигенции к своим правительствам в странах развитого капитализма. Исследователи находят «поразительное сходство» между студенческими волнениями в США и борьбой «радикальных групп в России сто лет тому назад»[19].

Политическая деятельность передовой интеллигенции в странах капитала на фоне возрастающей активности интеллигенции во всем мире в целом в условиях научно-технической революции все настоятельнее ставит перед буржуазными идеологами вопрос о путях и средствах ее интеграции в господствующую социально-политическую структуру. Суть этих проблем лаконично, но достаточно емко выразил американский исследователь М. Малиа: «Современное общество не в состоянии обойтись без интеллигенции, но может ли оно жить вместе с нею?»[20]

---

[17] Utechin S. Russian Political Thought. A Concise History. N. Y., London, 1964, p. VII, XIV, 147.

[18] Seton-Watson H. The Russian Empire. 1807—1917. Oxford, 1967, p. 9.

[19] Brower D. Training the Nihilists. Education and Radicalism In Tsarist Russia. London, N. Y., 1975, p. 36.

[20] Malia M. The Intellectualls: Adversary or Clerisy? — Daedalus, 1972, v. 101, N 2, p. 204.

В данной ситуации исследование передовой мысли России и деятельности революционной интеллигенции обретает особо важное значение. В их истории буржуазные авторы надеются получить ответ на острые вопросы сегодняшнего дня и прежде всего на вопрос о том, каким образом можно было бы «уменьшить или ограничить» рост численности и влияния «критически настроенной интеллигенции» [21].

Ярким доказательством выраженной политической направленности современной буржуазной историографии передовой русской интеллигенции является начатое в 1975 г. Институтом исследования международных изменений (Reseach Institute on International Change) при Колумбийском университете издание трехтомного сериала «Радикализм в современную эпоху» [22].

Придя к выводу, что наблюдаемый сейчас в США и других странах «развитой промышленной демократии» «феномен интеллигенции» очень «напоминает» интеллигенцию России XIX — начала XX вв. [23], и ставя своей целью создание новых «концептуальных схем» для объяснения современного радикализма (важность этой задачи особо подчеркивается во введении, написанном тогдашним директором института З. Бжезинским) [24], авторы исследования обращаются к истории русского революционного демократизма в плане сравнительно-исторического анализа. Как считает руководитель программы и один из авторов исследования известный на западе «эксперт» по коммунистическому и революционному движению профессор Колумбийского университета С. Байлер, для того чтобы сформулировать «всеобъемлющее рабочее определение» радикализма, «важно установить то общее, что имеется во всех движениях, которые могут быть названы радикальными» [25]. При этом в оценке русской революционной интеллигенции следует, по мнению Байлера, учитывать один «простой факт», а именно, что ее участие в

---

[21] Ibid., p. 206.

[22] Radicalism in the Contemporary Age/Ed. by Bialer S. and Slusar S. V. I. Sources of Contemporary Radicalism. Boulder, 1977.

[23] Ibid., p. 23.

[24] Ibid., p. XI.

[25] Ibid. Introductory remarcs by Bialer S., p. 12.

политической жизни страны и существование как особой социальной группы было возможно лишь через ее радикализацию, ибо принятие ею существовавшей в России социально-политической структуры могло для нее означать лишь «принятие собственного бессилия и мертвяще удушающих ограничений на свободу самовыражения» и, следовательно, было равносильно самоуничтожению [26].

Этот вывод обретает в настоящее время особую значимость в буржуазной историографии, что обусловлено двумя чрезвычайно важными обстоятельствами. Во-первых, он дает возможность признать историческую закономерность и даже неизбежность появления революционной интеллигенции в России и тем самым приблизиться к более объективному отражению ее истории. Во-вторых, дает надежду, хотя и весьма призрачную, на обоснование чрезвычайно важного для идеологов современной буржуазии политического вывода о возможности при определенных условиях интегрировать радикальную интеллигенцию в социально-политическую систему капиталистических стран, как якобы в корне отличную от существовавшей в России.

В результате тезис о том, что революционность русской интеллигенции была специфической формой ее социальной деятельности, обусловленной национальным своеобразием условий страны, формой, имеющей историческое оправдание только в России, получает сейчас методологическое значение. В его ракурсе освещается в последнее время вся история русской революционной интеллигенции: причины формирования, основные характеристики и своеобразие ее социально-политической мысли.

Этот подход представляет собой, безусловно, существенный шаг вперед в сравнении с прежними установками, особенно характерными для буржуазной историографии периода «холодной войны», когда все усилия авторов сводились к тому, чтобы доказать случайность, беспочвенность революционного движения в России. Он позволяет признать универсальность феномена революционной интеллигенции вообще и закономерность появления ее в России, в частности, и в то же время

[26] Ibid., p. 25.

дает возможность по-прежнему отстаивать тезис о коренном национальном своеобразии русской интеллигенции, выразившемся в экстремизме ее политической мысли и борьбы.

Вывод о формировании революционной интеллигенции как закономерной универсальной категории поступательного развития мировой истории самым непосредственным образом связан с другим важнейшим для идеологов современной буржуазии фактором, значительно стимулирующим их интерес к интеллектуальной истории нашей страны. Это — стремление доказать возможность создания в противовес марксизму некоей генерализирующей теории социального развития в качестве идейно-теоретической предпосылки (и в то же время с целью «научного» обоснования) якобы предстоящей конвергенции двух социальных систем [27]. В соответствующим образом интерпретированной истории русской революционной мысли они пытаются отыскать аргументы в пользу создания такой теории.

Отмеченные традиционные черты и новые тенденции, характеризующие общее состояние современной буржуазной русистики, в наиболее рельефной форме прослеживаются в историографии США и Англии, во многом определяющих сейчас развитие исторической науки на Западе. Общность языка, традиционные тесные и многообразные научные связи между этими странами способствуют взаимостимулирующему влиянию их историографий. При этом в силу ряда причин (отметим в качестве основных определяющее влияние политической стратегии США и возрастающую сциентизацию американской исторической науки) ведущая роль в современной историографии Запада принадлежит историкам США. Именно от них, как отмечает, в частности, ученый из ГДР Р. Эспенхайн, «исходят решающие идеологические и методологические импульсы» [28].

Наиболее отчетливо выраженной тенденцией, определяющей современное состояние английской и амери-

---

[27] Подробнее об этом см.: Баграмов Э. Социология и пути общественного развития.— Коммунист, 1979, № 2, с. 110.

[28] Espenhayn R. Sozialismuskritic in der Defensive. Kritik der bürgerlichen Ideologie und des Revisionismus. Berlin, 1978, S. 35.

канской буржуазной русистики, является усиление ее политической ориентированности и идеологизация, свойственная всей буржуазной историографии. В связи с этим для нее характерны особая противоречивость и непоследовательность, проявляющиеся в том, что откровенно политически нацеленные исследования сосуществуют в ней, иногда тесно переплетаясь, с попытками объективного анализа, дающими известные позитивные результаты в освещении отдельных частных вопросов исследуемых проблем. Что же касается русского революционного движения, то эта проблема, благодаря ее острой актуальности, приковывает внимание как действительно серьезных исследователей, стремящихся разобраться в сути исторических процессов и событий, так и авторов, откровенно преследующих цель дискредитировать советскую государственную систему путем обращения к фальсифицированному прошлому нашей страны. Это обстоятельство значительно осложняет анализ буржуазных исследований, посвященных истории революционно-демократического движения.

Советские историки выделяют в современной буржуазной историографии русского революционного движения три основных направления: реакционно-консервативное, либерально-консервативное и либерально-объективистское [29]. Однако такое деление не представляется достаточно обоснованным. Главные компоненты взятого в его основу критерия—«политические убеждения», «понимание сущности общественного процесса» и «профессиональный уровень» исследователя [30]—не однозначны. Они являются следствием смешения профессиональных качеств, политических и методологических позиций ученого. К тому же они отнюдь не всегда воплощаются в творчестве исследователя в раз и навсегда определившемся соотношении. Конкретная историографическая практика сложна и противоречива. Достаточно высокий авторский про-

---

[29] См. напр.: Карпачев М. Д. Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы. М., 1979, с. 43—47. В. Г. Джангирян, также выделяющий три основных направления, квалифицирует их как антикоммунистическое, консервативное и умеренно-объективистское (см.: Джангирян В. Г. Критика англо-американской буржуазной историографии М. А. Бакунина и бакунизма. М., 1978, с. 154).

[30] См.: Карпачев М. Д. Указ. соч., с. 43.

фессионализм нередко сочетается в ней с откровенно реакционной политической нацеленностью, значительно снижающей научную ценность исследований. Убедительным примером тому могут служить, в частности, работы И. Берлина, а также ряда других авторов: Э. Актона, Н. Рязановского, А. Вусинича, Р. Мак-Нэлли. Не случайно статьи И. Берлина, написанные еще в 40—50-е гг., недавно переизданы [31]. Причем эта книга оценивается западными авторами как «дуновение свежего ветра» в «удушающей атмосфере» современных буржуазных исследований [32].

Следует принять во внимание к тому же, что такой признак, как «объективизм», не может быть положен в основу при выявлении различных течений внутри немарксистской историографии. Представляя собой чуждый научному классовому подходу метод исторического анализа, он в определенной степени свойствен также некоторым исследователям, относящимся ко всем течениям (согласно предложенной советскими авторами классификации) внутри буржуазной историографии.

Вследствие этого предпринятые в нашей исследовательской литературе попытки выявить конкретные различия между отмеченными течениями в историографической практике западных ученых, на наш взгляд, не убедительны. Они не подтверждают правомерность предложенного трехчленного деления. И отнюдь не случайным оказывается в этой связи такой факт, например, когда в одной и той же работе мы встречаем различное деление современной американской буржуазной историографии по направлениям. Так, автор одного из разделов коллективной монографии «Н. Г. Чернышевский в общественной мысли народов зарубежных стран» И. И. Черкасов следует ставшему в последнее время почти традиционным выделению трех направлений, определяя их как «реакционное», «буржуазно-либеральное» и дающее «адекватную интерпретацию» исторического значения русской революционной демократии [33]. Автор же следующего раздела работы

---

[31] Berlin I. Russian Thinkers. London, 1978.

[32] The Russian Review, 1979, v. 38, N 3, p. 365.

[33] Н. Г. Чернышевский в общественной мысли народов зарубежных стран/Под ред. В. Е. Евграфова. М., 1981, с. 235—236.

У. Д. Розенфельд выделяет лишь два направления: «традиционное», характеризующееся «воинствующим антикоммунизмом», и другое, которое он определяет как «либерально-прогрессивную тенденцию», отличающуюся «сравнительно объективным, основанным на фактах» освещением русской истории [34].

В данном случае имеет место не только различная классификация буржуазной историографии, но и явное смешение двух отнюдь не адекватных понятий «направление» и «течение», различающихся между собою, как представляется, степенью выраженности своих идейно-политических и методологических позиций.

Эти факты достаточно убедительно свидетельствуют о необходимости разработки действительно обоснованной классификации направлений современной немарксистской историографии [35].

Наблюдаемые в последние годы активные поиски буржуазными учеными новых, более гибких и наукообразных концептуальных схем (нередко с учетом выводов и наблюдений советских исследователей) обусловливают появление в современной западной историографии большого многообразия идей и теорий при сохранении в неизменном виде ее общей мировоззренческой основы [36]. Поэтому вовсе не легко классифицировать современную буржуазную историографию русского революционного движения, как не просто, да и не всегда возможно выявить принадлежность конкретного исследователя к какому-либо из выделенных течений. Слишком уж тесно буржуазные исследователи соприкасаются в этой области с насущными политическими задачами, стоящими перед правящими кругами империалистического лагеря.

---

[34] Там же, с. 237.

[35] Научную и политическую значимость такой классификации особо подчеркнул И. Д. Ковальченко (см.: Критика буржуазной историографии по проблемам исторического процесса: Реф. сб. М., 1981, с. 10).

[36] На наш взгляд, именно в сохранении главных мировоззренческих и методологических позиций, а отнюдь не в «монотонности» и «одноцветности», как считает М. А. Маслин, проявляется «консерватизм» буржуазных ученых в исследовании русской передовой общественной мысли (см.: Маслин М. А. Просчеты и предубеждения американского чернышевсковедения.— В сб.: Философия Н. Г. Чернышевского и современность: К 150-летию со дня рождения. М., 1978, с. 168).

Представляется, на наш взгляд, более правомерным выделять в современной буржуазной историографии русской революционной демократии, как, впрочем, и во всей русистике, два основных течения: откровенно политизированное, реакционное и более научное, отличающееся относительно объективным освещением исторического прошлого нашей страны. Особенно отчетливо эти течения проявляются в определении места и роли русской революционной демократии.

В последние десять—пятнадцать лет в оценке буржуазными авторами истории России явно доминирует второе из отмеченных течений. Решающую роль в этом играет несомненный рост авторского профессионализма, обусловленный прежде всего возросшими требованиями к уровню исторических исследований, а также бесспорным усилением влияния работ советских авторов. Нельзя не учитывать здесь и начавшегося в 60-е гг. заметного потепления политического климата. Однако по ряду причин этот фактор не может иметь определяющего значения в смене историографических течений, поскольку главной стратегической целью идеологической борьбы сил империалистического лагеря был и останется антисоветизм.

Кроме того, в связи с тем, что в общественно-политической и идейной жизни капиталистических стран (прежде всего США) в последние годы наблюдается усиление консервативных тенденций, как проявление охранительной реакции на появление разного рода «контркультур», происходит очевидная эволюция идеологической стратегии современного империализма в сторону неоконсерватизма, выдвинувшегося сейчас на положение ведущего течения буржуазной идеологии [37].

Это последнее обстоятельство в немалой степени объясняет то, что различия между двумя выделенными нами течениями в современной английской и американской буржуазной историографии русской революционной демократии не носят принципиального характера. Они обусловлены лишь различием в оттенках политической ориентации авторов и их принадлежностью

---

[37] Подробнее см.: Мельвиль А. Ю. Социальная философия современного американского консерватизма. М., 1980.

к разным поколениям историков[38], а также традициями научных школ и национальных историографий. В целом же современная буржуазная русистика выступает единой как по своей методологической и идейно-теоретической оснащенности, так и по политической направленности. Это обусловливает не только ее концептуальную общность в исследовании отдельных проблем истории России, но и в конечном счете ненаучность их решения.

Следует также учитывать, что историографические концепции и схемы буржуазных ученых не являются чем-то застывшим, раз и навсегда определившимся. Они постоянно видоизменяются под влиянием быстро меняющейся реальности. Возникает множество новых трактовок, теорий, гипотез. Однако, как правило, новизна их весьма относительна; на поверку они оказываются лишь слегка подновленными, модифицированными версиями старых традиционных штампов и моделей, поскольку буржуазные историки не способны выйти за традиционные рамки своей ненаучной методологии, обусловленной классовым мировоззрением. Их историческая мысль остается замкнутой в кругу своих собственных общих ненаучных представлений и установок.

Доминирующей чертой английской и американской русистики и советологии последних лет, как и всей современной буржуазной историографии в целом, являются напряженные поиски новых концептуальных схем, способных более адекватно осветить историю передовой общественной мысли и революционной интеллигенции России, чтобы лучше понять настоящее и предугадать будущее нашей страны. Поиск новых концепций проявляется прежде всего в отказе от наиболее одиозных «веховских» трактовок, широко распространенных в период «холодной войны», и в обращении к более гибким, более соответствующим изменившемуся «политическому ландшафту» теориям.

---

[38] Целесообразность учета принадлежности авторов к разным поколениям историков при выделении основных направлений в современной буржуазной русистике убедительно обоснована Б. Н. Мироновым (см.: Миронов Б. Н. Некоторые схемы истории СССР в современной англо-американской буржуазной историографии. — В кн.: Критика новейшей буржуазной историографии. Л., 1976, с. 57—58).

Это еще более повышает политическую актуальность и научную значимость критического разбора имеющих место в буржуазной русистике концепций, наблюдений и выводов.

Критический анализ современной буржуазной историографии освободительного движения в России может опереться в настоящее время на целый ряд советских исследований, посвященных рассмотрению идейно-методологических принципов и основ буржуазной исторической науки. Среди них прежде всего заслуживают быть отмеченными работы М. А. Барга, О. Л. Вайнштейна, Ю. И. Красина, Б. Г. Могильницкого, В. И. Салова, Л. В. Скворцова и др.[39] Раскрывая главные пороки буржуазной философии и методологии истории и тесную связь исторической науки Запада с идеологическими задачами буржуазии, эти исследования создают необходимую научно-теоретическую основу для более аргументированной критики буржуазной историографии отдельных проблем русской истории.

Не менее важное значение имеют также работы советских историков и историков других социалистических стран, посвященные раскрытию действительных политических целей и классового содержания многочисленных

---

[39] См.: Барг М. А. Вопросы метода в современной буржуазной историографии. — Вопросы истории, 1972, № 9; с. 63—81; Красин Ю. А. Революцией устрашенные; Могильницкий Б. Г. О природе исторического познания. Он же. Буржуазная историческая мысль и современность. — В кн.: Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1979, вып. 13, с. 12—30. Он же. Современный этап кризиса буржуазной исторической науки.— Вопросы истории, 1980, № 9. с. 62—77. Марушкин Б. И. Историческая наука и современная идеологическая борьба. М., 1975; Скворцов Л. В. История и антиистория. М., 1976; Салов В. И. Современная западногерманская буржуазная историческая наука. М., 1968; Он же. Историзм и современная буржуазная историография. М., 1977; Он же. Кризис буржуазной методологии истории. — Вопросы истории, 1981, № 4, с. 85—99; Вайнштейн О. Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX—XX в. Л., 1979.

советологических концепций [40]. В них не просто анализируются причины того, почему Октябрьская революция неизменно оказывается в центре внимания современных западных советологов и «россиеведов», но и намечаются пути решения вопросов о том, как и почему буржуазные концепции Октября влияют на освещение других вопросов русской истории и прежде всего истории предшествовавших этапов освободительного движения.

Появление в 60— начале 70-х гг. крупных монографических работ советских исследователей по истории русского революционно-демократического движения 60-х гг. XIX в. и революционного народничества дали необходимую фактическую и теоретико-методологическую основу для научно обоснованной критики буржуазных концепций не только разночинского периода освободительной борьбы, но и всего русского революционного движения в целом [41]. Тогда же впервые в отдельных рецензиях и историографических обзорах были рассмотрены взгляды некоторых буржуазных авторов, изучающих это движение [42].

Итогом начатой работы явились специальные исследования, содержащие обстоятельный научный анализ современной английской и американской историогра-

[40] См., напр.: Красин Ю. А. Диалектика революционного процесса. М., 1972; Красин Ю. А., Лейбзон Б. М. Революционная теория и революционная политика. М., 1979; Кризис антисоветизма. М., 1978; Марушкин Б. И. История и политика. Американская буржуазная историография советского общества. М., 1969; Он же. Советология: Расчеты и просчеты. М., 1976; Фойгт Г. Октябрьская революция в освещении историографии ФРГ. — История СССР, 1979, № 1, с. 229—235; Чубарьян А. О. Буржуазная историография Октябрьской революции. — Вопросы истории, 1968, № 1, с. 89—96.

[41] См., напр.: Антонов В. Ф. Революционное народничество. М., 1966; Итенберг Б. С. Движение революционного народничества. М., 1966; Седов М. Г. Героический период революционного народничества. М., 1966; Твардовская В. А. Социалистическая мысль России на рубеже 1870—1880-х годов. М., 1969; Пантин И. К. Социалистическая мысль в России: Переход от утопии к науке. М., 1973; Смирнова З. В. Социальная философия А. И. Герцена. М., 1973.

[42] См.: Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова. М., 1972; Новиков А. И. Нигилизм и нигилисты. Л., 1972; Малинин В. А. Философия революционного народничества. М., 1972; Володин А. И., Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Чернышевский или Нечаев? М., 1976.

фии русской революционной интеллигенции вообще и революционного народничества в частности [43]. Среди последних работ особо следует остановиться на монографических исследованиях В. Г. Джангиряна и М. Д. Карпачева [44]. Эти работы заслуживают внимания прежде всего тем, что в них убедительно, на большом историографическом материале раскрываются действительные цели обращения английских и американских исследователей к изучению взглядов и деятельности русской революционной демократии. Показывается, что попытки буржуазных авторов обосновать мысль о генетическом и теоретическом родстве идеологии революционного народничества и ленинизма в подавляющем большинстве продиктованы далекими от подлинной науки задачами, а именно: стремлением дискредитировать ленинизм, оторвав и даже противопоставив его марксизму.

В книге М. Д. Карпачева впервые воссоздается история становления и развития имеющихся в англоязычной литературе буржуазных концепций революционного народничества, появившихся со времени возникновения

---

[43] См.: Щетинина Г. И. Интеллигенция, революция, самодержавие. Освещение проблемы в американской буржуазной историографии. — История СССР, 1970, № 6, с. 154—172; Маслин И. А. Русское революционное народничество и современность. — В кн.: Современная идеологическая борьба и молодежь. М., 1973, с. 160—170; Он же. Просчеты и предубеждения американского чернышевсковедения. — В кн.: Философия Н. Г. Чернышевского и современность. М., 1975, с. 155—169; Он же. Критика буржуазных интерпретаций идеологии русского революционного народничества. М., 1977; Джангирян В. Г. Современная буржуазная англо-американская историография М. А. Бакунина и бакунизма. — Тр. ун-та Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1974, т. 72. Сер. История, вып. 5. Историография и источниковедение, с. 58—71; Карпачев М. Д. Англо-американская буржуазная историография об отношении К. Маркса и Ф. Энгельса к революционному народничеству. — Вестн. Моск. ун-та. Сер. История, 1973, № 5, с. 29—39; Он же. Англо-американская буржуазная историография об истоках движения революционного народничества в России. — История СССР, 1978, № 6, с. 216—221; Новиков В. М. Критика современной англо-американской буржуазной историографии П. Л. Лаврова и лавризма: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1978.

[44] См.: Джангирян В. Г. Критика англо-американской буржуазной историографии М. А. Бакунина и бакунизма. М., 1978; Карпачев М. Д. Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы. М., 1979.

самого движения. Это позволило автору глубже раскрыть существенное содержание американской и английской буржуазной историографии русского освободительного движения и аргументированно показать, что при всей пестроте имеющихся в ней концепций ее объединяет общность идейно-теоретических и методологических посылок, обусловленная буржуазным мировоззрением и антисоветизмом.

Внося заметный вклад в марксистское исследование темы, монографии В. Г. Джангиряна и М. Д. Карпачева в определенной степени подводят итог в изучении современной английской и американской буржуазной историографии русского освободительного движения. Однако, как и все другие названные здесь работы в этой области, они, естественно, не могут дать исчерпывающего критического анализа всех аспектов рассматриваемой проблемы. Это оказывается невозможным уже потому, что в них анализируются исследования английских и американских авторов, посвященные лишь одному из этапов революционно-демократического движения — народническому. Указанное обстоятельство значительно осложнило выявление общих идейно-методологических установок и основных концептуальных схем, определяющих подход буржуазных авторов к освещению истории освободительного движения. Вместе с тем, историография революционного движения анализируется вне контекста историографии истории России в целом, ее основных закономерностей и национального своеобразия. Кроме того, в имеющихся работах лишь намечена, но не выявлена эволюция историографических концепций буржуазных авторов в связи с эволюцией самой буржуазной исторической мысли, с происходящими сдвигами в мировом революционном процессе и соответствующим изменением тактики идеологической борьбы, влияние которой на современную западную историографию все возрастает.

Решение этих вопросов исключительно важно. Оно позволило бы более рельефно обозначить тесную связь буржуазной историографии и политики и тем самым обнаружить подлинные, внешне скрытые пружины, которые обусловливают состояние и эволюцию буржуазной исторической мысли в целом.

Заметно возросшее в последние годы число работ,

посвященных рассмотрению буржуазной историографии русского революционного движения, не меняет сложившейся картины. Как правило, в них лишь повторяются известные, уже высказанные ранее положения, вновь рассматриваются теории, несостоятельность которых давно доказана в марксистской литературе [45]. В результате еще не изжито отставание марксистской критики от реального процесса развития буржуазной исторической мысли [46]. Остаются неосмысленными те новые тенденции, которые характеризуют современное состояние буржуазной русистики.

В данной работе исследуется английская и американская историография русской революционной демократии XIX в. При этом имеющиеся в ней концепции рассматриваются не только на примере освещения буржуазными авторами наиболее яркого этапа революционного демократизма — народнического, но и всего движения. Предпринята попытка выявить идейно-теоретические основы и целевые установки этих концепций в связи с их освещением истории России.

Особое внимание уделяется эволюции основных концептуальных схем, а также выявлению тех новых тенденций в интерпретации ряда наиболее важных вопросов проблемы (истоки и главные характеристики движения, национальное своеобразие русской передовой

---

[45] Назовем в качестве примера: Страхов А. Идейные истоки философии Н.Г. Чернышевского в освещении англо-американской историографии. — В кн.: Актуальные проблемы истории философии народов СССР. М., 1979, вып. 7, с. 112—120; Корионова Е. В. Критика современных буржуазных фальсификаций проблемы преемственности в истории русской социалистической мысли.— В кн.: Актуальные проблемы истории социалистических учений. М., 1980, с. 88—105; Новиков А. И. Критика буржуазной фальсификации идейно-теоретического наследия Н. Г. Чернышевского: К характеристике историко-философских истоков. — В кн.: Н. Г. Чернышевский и современность. М., 1980, с. 229—236; Хрисанфов В. И. Начало ленинского этапа развития марксизма в освещении буржуазной историографии: По поводу так называемой концепции о «народнических корнях большевизма». — Вестн. Ленингр. ун-та, 1980, № 8, вып. 2, с. 39—43.

[46] На это обращает внимание своих читателей журнал «Коммунист» (см.: Кириллов-Угрюмов В. Советская система аттестации кадров на современном этапе. — Коммунист, 1982, № 10, с. 64).

интеллигенции и ее общественной мысли), которые появляются в связи с объективными переменами, наблюдаемыми в современном буржуазном обществоведении и в связи с реальными процессами, происходящими в реальном мире.

Анализ английской и американской русистики на довольно значительном отрезке времени (50—70-е гг.) дает возможность полнее и глубже рассмотреть становление и содержание основных ее концепций и выводов, а также проследить обнаружившуюся в процессе их эволюции непоследовательность и противоречивость, иногда даже приводящую авторов к взаимоисключающим выводам и заключениям.

Глава I

ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСВЕЩЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИЕЙ УЗЛОВЫХ ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Интерес современных буржуазных исследователей к истории нашей страны в разное время стимулировался разными факторами. Однако идейная основа их исследований оставалась неизменной. Ею всегда был и остается антисоветизм как главное стратегическое направление антикоммунизма в целом [1]. Цель рождает адекватные средства. Тенденциозное освещение современной истории нашей страны приводит к соответствующей интерпретации ее прошлого.

Под воздействием реальных процессов антисоветизм, сохраняя свою классовую антикоммунистическую сущность, меняет свои формы и методы. Это отражается и на исследовании истории России. Откровенные фальсификаторские концепции уступают место более гибким, более реалистическим теориям и оценкам. Заметно корректируется целевая заданность исторических исследований, усложняются их задачи.

Буржуазные ученые все чаще обращаются к истории нашей страны уже не только для того, чтобы опорочить ее реальную действительность и таким образом попытаться в очередной раз дискредитировать саму идею социализма, но и для того, чтобы глубже осмыслить ход истории своих собственных стран и перспективы их дальнейшего развития. Вопрос о том, «можно ли понять историю Запада, не беря во внимание историю Рос-

[1] Подробнее см.: Кризис антисоветизма. М., 1978, с. 8; На фронтах идеологических битв: Проблемы идеологической борьбы на современном этапе. М., 1979, с. 170.

сии», обретает для них в настоящее время вполне реальный и весьма важный смысл [2].

Следует помнить при этом, что политическая и идеологическая ориентированность буржуазных авторов не является единственным критерием оценки научной значимости их трудов. Развитие буржуазной исторической науки определяется в конечном счете ее теоретическим уровнем, обусловленным классовым мировоззрением исследователей [3]. Как бы ни рознились политические симпатии и идеологические пристрастия буржуазных историков, для них характерны одни и те же методы познания общественно-исторических явлений: метафизика, игнорирование главных причинно-следственных связей, воинствующее неприятие учения об общественно-экономических формациях. В этом заключается их общность, образующая единую философско-историческую традицию.

1. «Евразийская» теория

Диапазон теоретического мышления буржуазных исследователей ограничен их социально-классовыми позициями. Обосновать право на существование и историческую перспективу капиталистического общества можно лишь искажая смысл и главные тенденции процесса исторического развития. С этой целью буржуазными учеными создан значительный арсенал идейно-теоретических средств, замкнутых рамками буржуазного миросозерцания. Важнейшими из них, имеющими самое непосредственное отношение к освещению западными исследователями истории России и ее революционного общественного движения, являются тезис об определяющей роли политической власти, а также абсолютизация общественной мысли как таковой, отрыв ее от самого общества, определяющих его развитие социально-экономических процессов.

Взятые в качестве методологически исходных, эти положения служат основанием для конструирования

---

[2] Dukes P. October and the World. Perspective on the Russian Revolution. London and Basingstoke, 1979, p. 29.

[3] Подробнее см.: Могильницкий Б. Г. О природе исторического познания. Томск, 1978.

буржуазными учеными произвольных концептуальных схем в исследовании формирования русской революционной интеллигенции, генезиса и эволюции ее общественной мысли. Важнейшей из таких схем, призванной «объяснить» главные моменты и особенности русской истории, а также своеобразие становления и развития революционного движения, является ставшая традиционной в буржуазной историографии «евразийская» теория, провозглашающая особый путь исторического развития России, принципиально отличный от пути развития европейских стран.

Своими первоистоками «евразийская» теория восходит к русской дореволюционной историографии как западнической, так и славянофильской ориентации (С. М. Соловьеву, Б. Н. Чичерину, В. О. Ключевскому, Д. И. Иловайскому, Н. Я. Данилевскому). Особенно большое влияние на ее формирование оказала теория обособленных «культурно-исторических типов» Н. Я. Данилевского, считавшего славянские народы новым, качественно отличным этническим типом. Позже, после Октябрьской революции, в сложных условиях политической и интеллектуальной жизни Советского государства первых лет его существования эта теория получила дальнейшее развитие. Желание понять смысл происходящего и поддержать новое рождавшееся общество привело некоторых представителей интеллигенции к противопоставлению России Западу, подчеркиванию присущих русскому национальному духу неких особых высших человеческих ценностей, отличных от европейских [4]. Этот мотив был воспринят и продолжен русской белоэмигрантской интеллигенцией с ее острым чувством неустроенности, усиленным ностальгией. Найдя в белоэмигрантской среде благоприятную почву и получив здесь с самого начала антисоветскую направленность, «евразийская» теория была дополнена тезисом об опасности угрозы европейской культуре со стороны Совет-

[4] См.: Иванов-Разумник Р. В. О смысле жизни. Берлин, 1920, с. 22.

ской России, якобы олицетворявшей собою воскресший «пан-монголизм» [5].

В таком виде «евразийская» теория широко использовалась в официальной антикоммунистической пропаганде буржуазии, напуганной победой Октябрьской революции. В последующее время она была развита за счет новых положений, позволивших западным исследователям использовать ее как действенное оружие идеологической борьбы против первого в мире Советского социалистического государства.

В этом своем качестве существенное содержание «евразийской» теории было сформулировано в 40-е гг. известным американским исследователем, белоэмигрантом Г. Вернадским [6]. Она постулировала в геополитическом духе ставший весьма популярным в западной историографии тезис о коренном своеобразии русской истории, обусловленном тем, что в социально-политическом строе России воплотились в большей мере черты азиатских деспотий, нежели государственных систем Западной Европы [7]. Отрицалось наличие в стране феодализма и абсолютизировалась специфика ее государственного устройства. При этом наиболее реакционные, антисоветски настроенные авторы работ по истории России акцентировали свое внимание на доказательстве тезиса об отсутствии здесь демократических традиций и несвободе как психологической черте, обусловленной расовыми характеристиками нации [8].

Следуя широко распространенному в русской дореволюционной буржуазной исторической науке тезису о первенствующей роли политической власти в истори-

---

[5] Williams R. Culture in Exile. Russian Emigres in Germany. 1881—1917. N. Y., 1972, p. 253—254, 258—259. См. также: Зеньковский В. Русские мыслители и Европа: Критика европейской культуры у русских мыслителей. Париж, 1966, с. 159—160, 163.

[6] Бывший профессор Иельского университета, автор целого ряда работ по русской истории, в том числе 6-томной «Истории России», получивших широкое научное признание за рубежом, один из основателей созданной белоэмигрантами в США «Русской академической группы», редактор издаваемых ею «Записок».

[7] Подробнее об этом см.: Миронов Б. Н. Некоторые схемы истории СССР в современной англо-американской буржуазной историографии. — В кн.: Критика новейшей буржуазной историографии. Л., 1976, с. 58—60.

[8] Sumner B. Survey of Russian History. Duckwarth, 1945.

ческом развитии страны, западные приверженцы «евразийской» теории представляют Русское государство как некую самодовлеющую, изолированную, неизменяемую организацию, основывавшую свое господство лишь на грубой политической силе. Известный на Западе «эксперт по тоталитаризму», член русского Исследовательного центра в Гарвардском университете Б. Вольф[9] утверждает, в частности, что, квалифицируя самодержавие как независимую иерархическую и деспотическую систему, Н. К. Михайловский развивает «более реалистическую концепцию природы Русского государства», чем Маркс, Энгельс, Плеханов и Ленин[10]. Еще более категоричен в своих утверждениях на этот счет известный своими антикоммунистическими взглядами американский историк Р. Пайпс[11]. Он полагает, что Русское государство «не выросло из общества» и даже не было ему «навязано сверху». Неким чудодейственным образом оно появилось и росло совершенно независимо, рядом с обществом и, действуя в отношении него как враждебная сила, «заглатывало его по кусочку»[12].

Не будет преувеличением сказать, что все без исключения буржуазные исследователи единодушны в утверждении тезиса о коренном отличии самодержавия от западноевропейского абсолютизма. Признавая некоторое внешнее сходство между автократией и абсолютной монархией, они решительно отрицают возможность их сближения, доказывая принципиальное различие между ними. В особенно четкой форме эту мысль выразил за-

---

[9] Автор нескольких трудов по истории России и истории Советского государства. В течение ряда лет (60-е гг.) вел в Гарвардском университете семинар по теме «Марксизм и сталинизм».

[10] Wolf B. Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought. — Slavic Review, 1967, v. XXVI, N 2, p. 183.

[11] Ярый антикоммунист, автор ряда работ по истории России, в том числе истории русской общественной мысли, включая большую монографию о П. Струве. Почетный профессор Гарвардского университета, в прошлом директор русского исследовательского центра этого университета. Некоторое время был сотрудником совета по национальной безопасности США в президентство Рейгана. (Подробнее см.: Романовский Н. В. Ричард Пайпс — профессиональный антисоветчик. — Вопросы истории, 1982, № 3, с. 27—42).

[12] Pipes R. Russia under the Old Regime. London, 1974, p. 27.

падногерманский исследователь Г. Рооз, пытающийся дать ей теоретическое обоснование. Он полагает, что самодержавие является особым типом государства, принадлежавшим к восточно-азиатскому культурному кругу. Его существенное отличие от абсолютной монархии, где массы подчиняются хотя и неограниченным, но «известным и благоразумным» правилам, заключается в «полном, ничем не сдерживаемом произволе власти» [13]. Эта гипертрофия роли правящей власти и составляла, по мнению буржуазных исследователей, суть русской национальной государственной традиции [14].

Истоки своеобразия национальной государственной традиции России буржуазные авторы видят в том, что Русское государство, занимая в отличие от стран Запада географически срединную позицию, синтезировало в себе восточный деспотизм, туземную патриархальность и византийский цезаризм, поддерживаемый ортодоксальной церковью.

Весьма распространенным в рассматриваемой нами исторической литературе, как и во всей буржуазной историографии, является стремление отводить особую роль в ряду факторов, обусловивших своеобразие Русского государства, влиянию монголо-татар. Так, Б. Вольф, характеризуя самодержавие в качестве «более централизованной власти, более цельной, более монополистической, более деспотической, чем абсолютизм в Европе», склонен видеть главную причину, обусловившую это обстоятельство, в «татаризации» Русского государства [15].

Одним из первых, поставивших этот вопрос в западной историографии, был уже названный нами Г. Вернадский. Он считал, что в период монгольского господства в Русском государстве сложились основные принципы общественной организации, получившие в даль-

---

[13] Roos H. Verhältnis von Autokratie und Anarchie als universalhistorisches Problem. — In: Probleme der Geschichtswissenschaft. Düsseldorf, 1973, S. 80.

[14] Известный своими реакционными взглядами американский автор Ю. Мэтвин определяет русское самодержавие как «дизархию», характеризуемую «чистым злоупотреблением власти» (Methvin E. The Rise of Radicalism. The Social Psychology of Messianic Extremism. Arlington House, 1973, p. 112).

[15] Wolf B. The Durability of Despotism in the Soviet System. — The Russian Review, 1958, v. 17, N 2, p. 83.

нейшем лишь свое окончательное завершение. Главные из социальных институтов, воплотившие данные принципы и оказавшие затем определяющее влияние на всю последующую историю страны, — самодержавие и крепостничество, явились, по его мнению, для русского народа платой за свое национальное выживание [16]. Следуя логике этих рассуждений, государственная организация России была прямым порождением и отражением деспотической власти империи монголов. В этом коренилась основа ее отличительных свойств, совершенно чуждых принципам государственного устройства стран Западной Европы.

В 70-е годы в буржуазной историографии появился ряд работ, авторы которых ставят перед собой задачу развить «евразийскую» теорию, дать ей более обстоятельную «научную» оранжировку. В ряду такого рода исследований заслуживают особого внимания две работы, вышедшие в одно и то же время. Это — уже упомянутая книга Р. Пайпса «Россия при старом режиме» и книга английского историка Т. Самуэли «Русская традиция» [17].

Оба автора ставят одинаковую цель — исследовать происхождение русского самодержавия как принципиально отличную от европейских государств форму политической власти. Пайпс, например, вообще характеризует Русское государство как «патримониальное» (вотчинное), представлявшее собою совершенно самостоятельную форму государственности, а отнюдь не разновидность или извращение какой-либо другой из известных в мировой истории форм. Его отличие от восточных деспотий заключалось в том, как считает Пайпс, что правящий монарх не ущемлял право собственности своих подданных. Он просто «не признавал за ними этого права». Поэтому, утверждает исследователь, термин «патримониальный» лучше всего определяет тип режи-

---

[16] Vernadsky G. The Mongols and Russia. New Haven, 1958, p. 390. (Подробнее об этой работе см.: Мерперт Н. Я., Пашуто В. Т. Георг Вернадский. Монголы и Россия.— Вопросы истории, 1955, № 8, с. 180—186.)

[17] См.: Pipes R. Russia under the Old Regime. (В 1980 г. она переиздана на русском языке. См.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. Кембридж, 1980); Szamuely Th. The Russian Tradition. London, 1974.

ма, существовавшего в России [18]. Оба автора одинаково выделяют также ряд чисто внешних моментов, определивших, в их трактовке, особенности русской государственности. Это—физико-географические условия страны влияние Византии, якобы отторгнувшей Русское государство от лежавшей в основе западной цивилизации культуры Древнего Рима, и, наконец, татаро-монгольское иго сыгравшее, по их мнению, особую роль в формировании авторитарной власти в стране и тем самым завершившее ее отрыв от Западной Европы.

Определяя Русское государство как «классический» пример «патримониального» государства, Р. Пайпс усматривает истоки его в бедных почвенно-климатических условиях страны. Согласно его утверждению, существенно искажающему реальные факты истории, правящая власть в России была изначально лишена каких-либо ограничений. Она базировалась на отождествлении прав суверена с правами полного собственника материальных богатств страны [19]. Глубокие последствия для всего хода русской истории имело заимствование христианства у Византии. Православная церковь с ее проповедью смирения и игнорированием роли «аналитического разума» превратилась в России в «ветвь государственной бюрократии», санкционировавшей и поддерживавшей авторитарную власть [20]. И, наконец, как отмечает Пайпс далее, большое значение для формирования Русского государства имело монголо-татарское иго. Наиболее погубным при этом оказалось его воздействие на «политический климат» Русского государства. Заигрывая с князьями или жестоко карая их, монголы, утверждает он, значительно увеличили тем самым отчуждение княжеской власти от народа, еще более уменьшив ее политическую ответственность и приучая подданных к мысли, что власть по «самой своей природе беззаконна» [21]. Пайпс предпочитает умолчать при этом, что именно князья возглавили и повели за собой народ на борьбу против монголо-татарского господства. Работу Пайпса пронизывает стремление изобразить всю историю

---

[18] Pipes R. Russia under the Old Regime, p. 31.
[19] Ibid., p. 1, 24.
[20] Ibid., p. 227.
[21] Ibid., p. 57.

России как следствие и воплощение особых, свойственных русской нации, расовых характеристик.

В отличие от Р. Пайпса, Т. Самуэли не склонен к поискам своеобразных расовых признаков в русской истории. Он более диалектичен и в оценке роли византийского наследия, признавая противоречивый характер его влияния. По его мнению, наследие Византии способствовало тому, что Древнерусское государство в культурном и экономическом отношении не уступало, а в некотором плане даже превосходило западноевропейские государства, поддерживая с ними самые тесные связи. Однако, в конечном же счете, как утверждает он, возобладало отрицательное влияние Византии: заимствованная у нее православная религия укрепила авторитарную тенденцию правящей власти, окружив ее атмосферой истинно восточного религиозного почитания [22].

Отдавая дань популярной на Западе теории «границ» Ф. Тернера, Самуэли видит «один из ключей к пониманию» истории России в том, что она в течение многих веков была «открытой оборонительной линией» между европейскими цивилизациями и кочующими племенами восточных «варваров». Эта пограничная позиция явилась, по его мнению, фактором решающего воздействия на судьбы страны. Вторжение монголо-татар прервало и на несколько веков задержало поступательное развитие Русского государства, окончательно оторвав его от западной цивилизации.

Справедливо отмечая отрицательное воздействие монгольского ига (повторяется известное изречение Наполеона, что «монголы не оставили России ни алгебры, ни Аристотеля»), Самуэли считает вместе с тем, что монголы дали Русскому государству нечто, оказавшее на него гораздо большое воздействие — незнакомые Западу концепции общественного устройства и административно-политическую систему.

Таким образом, русская история, как утверждает Самуэли, развивалась под восточным влиянием. Восточные «варвары» вдохнули в нее новую жизнь, реорганизовав ее общественный строй на основе ранее неизвестной идеологии, служившей базисом в создании самой

---

[22] Szamuely Th. Op. cit., p. 10—13, 67.

монгольской империи. Главным принципом этой идеологии была идея установления мирового порядка, основанного на совершеннном подчинении личности государству [23]. В этих идейных мотивах, а не в объективно закономерном укреплении экономических связей между соседними удельными княжествами, как это было в действительности, Самуэли усматривает главную причину, обусловившую позже восстановление единого национального Русского государства, а также форму его общественно-политической организации. «Россия, поистине,— пишет он,— была завоевана дважды: в первый раз — монгольской армией, во второй — государственной идеей монголов» [24].

Итак, централизованное Русское государство родилось, воплотив в себе принципы восточной деспотии, хотя, как замечает автор, эти начала были внутренне чужды русским национальным традициям [25]. Что же в таком случае обеспечило столь значительное влияние монголов? По мнению Самуэли, оно явилось результатом объективных внешних факторов, среди которых определяющую роль играла постоянно существовавшая необходимость организации национальной защиты. Неблагоприятное срединное географическое положение страны между Западом и Востоком выдвигало в качестве ее «главной жизненной задачи» создание оптимально эффективной системы мобилизации рассеянных материальных и людских ресурсов. В этих условиях, считает он, деспотизм являлся единственной политической формой, способной управлять страной и сохранять ее целостность на такой большой территории [26].

Мы подробно остановились на взглядах Т. Самуэли и Р. Пайпса не только потому, что они изложены в недавно изданных крупных исследованиях, получивших высокую оценку и широкое признание в западной исто-

---

[23] Ibid., p. 15, 87.
[24] Ibid., p. 18.
[25] Самуэли не склонен полностью отождествлять русскую государственную систему с типом восточной деспотии, но считает, что они были сходными в своих главных чертах (см: Szamuely Th. Op. cit., p. 86, 87).
[26] Ibid., p. 37, 87.

риографии [27], но потому, главным образом, что в них в наиболее законченной и рельефной форме прослеживаются характерные для современной английской и американской буржуазной историографии концепции образования самодержавного Русского государства и своеобразия его истории. Основой этих концепций является неисторический подход к сопоставлению России и западноевропейских стран. На первый план в них выдвигаются некие второстепенные различия и совершенно игнорируется принципиальное единство их социально-экономического развития. Затушевывая классовую природу самодержавия, буржуазные авторы игнорируют действительные факты истории, свидетельствующие о том, что политический строй Русского государства после уничтожения монголо-татарского господства и завершения национального объединения земель (конец XV—XVII вв.) представлял собой сословную монархию с боярской думой и боярской аристократией [28]. Они не учитывают также и того, что в последующее время происходит становление дворянской самодержавной монархии, когда наблюдается усиление бюрократизации дворянства и тем самым закладываются основы эволюции абсолютной монархии в буржуазном направлении [29].

Рассмотренные рассуждения Пайпса и Самуэли свидетельствуют о том, что оба автора полностью абстрагируются от исследования конкретных социально-экономических процессов, определявших динамику политической истории России. Характерным для буржуазной исторической науки образом они стремятся объяснить природу политической власти и социальной организации страны чисто внешними, не зависящими от внутреннего развития факторами (Т. Самуэли), дополняя их роль отличительными расовыми признаками (Р. Пайпс).

---

[27] Работа Т. Самуэли (получившего на Западе известность в качестве одного из «самых выдающихся комментаторов» истории Советского государства, активно сотрудничавшего в периодической печати и телевидении) в предисловии, написанном к ней Р. Конквестом, названа «великолепным исследованием» (см.: Szamuely Th. Op cit., p. VIII). См. также рецензию Н. Рязановского на книгу Р. Пайпса (The Russian Review, 1976, v. 35, N 1, p. 103—104).

[28] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 346.

[29] См.: Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. Формирование бюрократии. М., 1974.

Их объединяет также общее видение основного своеобразия русской истории, которое они усматривают в духе традиции антисоветизма в том, что русское общество якобы обнаружило с самого начала полную неспособность хоть в какой-то мере ограничить политическую власть.

Рассмотренные работы Т. Самуэли и Р. Пайпса позволяют считать, что «евразийство» отнюдь не является в настоящее время совершенно устаревшим, а тем более выброшенным из арсенала идейно-теоретических средств современных буржуазных исследователей истории России. Вместе с тем было бы неверно утверждать, что «евразийская» теория остается сейчас прежней, не претерпевает никаких изменений. Продолжая играть большую роль в ряду главных теоретико-методологических основ исследования русской истории, она корректируется в некоторых своих важнейших моментах. Это делает ее более гибкой и наукообразной.

С начала 60-х гг. появляются работы, достаточно отчетливо свидетельствующие о неудовлетворенности и даже откровенном неприятии «евразийской» теории. Их авторы высказывают сомнение в ее научной состоятельности, в частности в обоснованности тезиса о коренном отличии России от европейских стран, подчеркивая, что все страны имеют «общую логику» развития [30].

В последние годы все настойчивее звучат призывы отказаться от необоснованного противопоставления России Западу и требования рассматривать ее как принадлежащую к европейской культурной и духовной общности в качестве равноправного партнера. Американский ученый Г. Робертс, например, квалифицирует «евразийскую» теорию как следствие идеологической пристрастности, предрассудков и как прямое продолжение «холодной войны», полагая, что она таит в себе «ощутимую опасность», ибо ставит историков в положение совершенно неготовых к научному освещению целого ряда новых могущих возникнуть проблем [31]. Отмечая

---

[30] Mathewson R. Russian Literature and the West. — Slavic Review, 1962, v. XXI, N 3, p. 413.

[31] Roberts H. Russia and the West: A Comparison and Contrast. — In: The Structure of Russian History/Ed. by M. Cherniavsky. N. Y., 1970, p. 253.

тесную связь проблемы с политическими задачами, он подчеркивает, что идеологическая пристрастность «открывает двери» тенденциозному отбору факторов и неправильному их истолкованию [32].

Другой исследователь, историк из ФРГ Р. Виттрам, подчеркивает, что «современные историки не должны позволять себе находиться под влиянием равно как славянофильских симпатий, так и евразийских идей, они должны быть осмотрительными в своих попытках культивировать европейскую гордость и формировать идеологию на основе лишь некоторых тенденций древней и современной истории Европы» [33].

Сейчас вполне отчетливо наметилась тенденция более гибко решать проблему исторического места России. Ее приверженцы стремятся не противопоставлять Россию странам Европы, а, напротив, определить ее положение в ряду последних [34]. Как и следовало ожидать, они сфокусировали свое внимание на опровержении наиболее распространенных аргументов, к которым обращаются сторонники «евразийской» теории: утверждений о решающей роли в истории Русского государства византийского и монголо-татарского наследий.

Существенным образом корректируются традиционные догмы о якобы изначальной культурной отсталости русской нации. Становится общепринятым не вычеркивать, как прежде, Древнерусское государство из ряда европейских держав. Начало его экономического, социального и культурного отставания и сопряженное с ним своеобразие политических форм относится теперь буржуазными историками к более позднему времени.

В этой связи пересматриваются, например, прежние «евразийские» трактовки роли византийского влияния. Выдвигаются, в частности, аргументированные доводы в пользу того, что это влияние не могло отторгнуть Рус-

---

[32] Ibid., p. 260.

[33] Wittram R. Russia and Europa. London, 1973, p. 8.

[34] Ф. Вернер, в частности, видит «суть проблемы» в том, чтобы «определить позицию России в Европе как в прошлом, так и теперь» (Werner Ph. Russia's Position in Medieval Europa. — In: Russia. Essays in History and Literature/Ed. by H. Syman, S. Legter. Leiden, 1972, p. 8).

ское государство от Запада, поскольку Византия не в меньшей мере была хранительницей античного культурного наследия. «Легко забыть», пишет американский исследователь Дж. Кларксон, что восточная часть Римской империи «всегда была культурно более развитой», чем западная, но нельзя не учитывать того, что римское право, оказавшее столь глубокое влияние на развитие Запада, было кодифицировано Византией [35]. По мнению другого американского исследователя, Н. Рязановского, культура Древнерусского государства отнюдь не была «tabula rasa». Основанная на созидательном творчестве восточных славян и христианском наследии Византии, она имела «широкое сходство со средневековой цивилизацией Западной и Центральной Европы, с которой была связана религией, языком, обычным правом и многим другим» [36].

Примечательно, что, стремясь выявить степень влияния Византии, авторы новейших работ прибегают к сопоставлению в сфере государственного и социально-экономического устройства. Американский византист Дж. Мейендорф считает, например, неправомерным придавать слишком большое значение роли влияния Византии на ход русской истории по той причине, что оно почти не коснулось социально-экономического и политического строя России [37].

Столь же отчетливо прослеживается также стремление к переоценке роли монголо-татар в русской истории. Справедливо подчеркивается, что их влияние не следует преувеличивать [38]. Являясь хотя и мощной, но

---

[35] Clarkson J. Russia. An Essay at Perspective. — The Russian Review, 1961, v. 20, N 2, p. 104.

[36] Riasanovsky N. Parting of Ways. Government and the Educated Public in Russia. 1801—1855. Oxford, 1976, p. 5.

[37] «Ни система апанажа в Киевской Руси, ни автократия московских царей, ни «просвещенный» (или не очень просвещенный) деспотизм Романовых в XVIII и XIX вв.,— пишет он,— не имели отношения к характеру социального и политического строя. Византии». (Meyendorff I. The Byzantine Impact on Russian Civilisation.— In: Windows on the Russian Past. Essays on Soviet Historiography since Stalin. Columbus, 1977, p. 46).

[38] Baykov A. The Economic Development of Russia. — In: Russian Economic Development from Peter the Greate to Stalin/Ed. by H. Turner, W. Blucswell. N. Y., 1974, p. 7.

спорадически действующей силой, монголы, по утверждению ряда авторов, не внесли и не могли внести сколько-нибудь существенных изменений в жизнь русского общества. Фраза Наполеона «поскребите русского и вы найдете татарина», замечает, в частности, Дж. Кларксон, «не прольет свет ни на русских, ни на татар». Она доказывает лишь «невежество в знании русской истории» [39]. Поскольку Русское государство, пишет он далее, уже имело до завоевания монголов века исторического развития, вероятнее утверждать, что его социальные и государственные институты эволюционировали в большей мере под влиянием своих собственных внутренних стимулов, нежели под давлением внешних «спазматических» импульсов [40]. Ту же мысль мы встречаем и у Ф. Вернера. По его мнению, некоторые юридические и административные новации монголо-татар не могли сыграть существенной роли по той причине, что их цивилизация «не была выше русской» [41].

Особенно значительный интерес в этом плане представляет книга американского исследователя П. Дьюкса «Октябрь и мир», опубликованная в 1970 г. Автор ее решительно возражает исследователям, которые говорят о коренном своеобразии самодержавия и считают возможным на этом основании исключить Россию из общности европейских государств. Он верно полагает, что такой подход к решению проблемы исторического места России «основывается скорее на форме, чем содержании», поскольку различия между Россией и странами Запада не носили качественного характера [42]. Отсталость России, по его мнению, была лишь относительной и касалась в основном только сельского хозяйства. Что же касается русской промышленности, то она в XVIII—XIX вв. находилась на уровне передовых стран, а в некотором отношении даже превосходила их [43]. Соответственно и существовавшая в стране форма государственной власти не отличалась в корне от европей-

---

[39] Clarkson J. Op. cit., p. 104.
[40] Ibid., p. 104—105.
[41] Werner Ph. Op. cit., p. 22.
[42] Dukes P. Op. cit., p. 29.
[43] Ibid., p. 74—75.

ских абсолютистских монархий, будучи, как и они, подверженной контролю со стороны общества [44].

Неудовлетворенность состоянием изученности проблемы исторического своеобразия России находит свое выражение в попытках наиболее вдумчивых исследователей поставить вопрос в методологическую плоскость с целью найти более объективные научные критерии исторических сопоставлений России и западных стран. Любопытны в этом плане рассуждения признанного в США специалиста в области исследования русской истории М. Раева [45]. Он отмечает неизбежные трудности в решении проблемы, проявляющиеся в том, что исторические сопоставления всегда классово обусловлены и содержат в себе «восприятие реальности» в качестве «основного конституирующего элемента». Чтобы избежать ошибок, необходимо, по его мнению, отказаться от механического сравнения инонациональных институтов и учитывать динамику их функциональных отношений. А это, считает Раев, наиболее целесообразно делать лишь в рамках более широких социальных понятий, как рабство, феодализм, «индустриализация» (капитализм) [46].

В этом обращении к широким социологическим категориям проявляются напряженные поиски буржуазными учеными новых путей решения важных проблем русской истории. Однако новые тенденции в рассмотрении вопроса о своеобразии русского государства, а также в целом проблемы места и роли России в мировом историческом процессе означают, как правило, лишь отказ от крайних, полностью обнаруживших свой антинаучный характер концепций и отнюдь не ведут к окончательному разрыву со старыми трактовками в духе «евразийской» теории. Такой разрыв потребовал бы решительного пересмотра не только всей прошлой, но также и современной истории нашей стра-

---

[44] Ibid., p. 29.

[45] Профессор Колумбийского университета. Специализируется по истории общественного движения и государственных учреждений России XVIII—XIX вв.

[46] Raeff M. Russia's Perception of her Relations with the West. — In: The Structure of Russian History/Ed. by M. Cherniavsky. N. Y., 1970, p. 262—266.

ны и повлек бы за собой необходимость переосмысления важнейших теоретико-методологических посылок, в том числе теории «континуитета», прочно вошедшей в арсенал современной буржуазной исторической науки.

Все это, в свою очередь, поставило бы под вопрос целый ряд выводов буржуазной историографии, имеющих самую непосредственную связь с современной идейно-политической борьбой. Этим и объясняется, почему модернизаторские попытки, предпринимаемые буржуазными исследователями как в сфере конкретно-исторических исследований, так и в области отдельных теоретико-концептуальных схем, не выходят за рамки общепринятых в буржуазной исторической науке теоретико-методологических установок [47].

В свете этих обстоятельств становится понятным, почему стремление буржуазных исследователей по-новому осмыслить проблему своеобразия и исторического места России в ряду других государств в конечном счете сводится к попыткам найти для нее некую срединную, промежуточную между Европой и Азией позицию. Хотя все чаще Россию начинают признавать страной, по праву занимающей свое место в семье европейских народов, однако, как правило, исследователи считают необходимым оговориться при этом, что вследствие яркой специфики своей истории она относится лишь к восточноевропейскому культурному кругу или же вообще представляет собой «отдельную историческую целостность в рамках Европы» [48].

По мнению М. Уорена, например, Россия со времени Петра I «оставалась наполовину европейской, наполовину византийско-восточной, наполовину просвещенной, наполовину остававшейся во мраке, наполовину современной, наполовину примитивной и даже полурабской и полусвободной... полной бесконечных противоречий

---

[47] См. об этом: Могильницкий Б. Г. О социальных функциях современной буржуазной исторической науки. — История СССР, 1978, № 5, с. 189—206.

[48] Werner Ph. Op. cit., p. 37.

и парадоксов»[49]. Более определенно эту мысль выразил Дж. Кларксон. Он считает, что Россия имеет два лица, но они не могут быть точно охарактеризованы как «европейское» или как «азиатское»[50]. Показательным в этом плане является замечание Г. Робертса, полагающего разумным заменить тезис полярности Россия — Запад концепцией «европейского спектра», изменяющегося в интенсивности тонов по мере продвижения к Востоку[51]. России при этом отводится место на самом краю восточной части этого спектра.

Примечательно, что и в новой трактовке вопроса о специфике, месте, а следовательно, и роли России в мировом историческом процессе присутствует отчетливо выраженная тенденция рассматривать ее развитие не просто в контексте европейской истории, но, в полном соответствии с духом «евразийской» теории, как зависящее от нее и подчиненное ей. Отвергая тезис об изоляции России (или признавая, что изоляция была свойственна лишь некоторым периодам ее истории), рассматриваемые исследователи стремятся особо подчеркнуть зависимость поступательного развития России от Западной Европы[52]. Любопытна в этом плане эволюция взглядов А. Тойнби. Относя по-прежнему Россию к византийской культурной сфере, он в одной из последних работ подчеркивает, что страны византийской цивилизации оказались субъектом все возрастающего западного влияния, имевшего место в различных формах и в течение длительного времени[53].

Действительный смысл нового подхода к решению вопроса о национальном своеобразии и историческом месте России достаточно хорошо раскрыт американским исследователем Р. Уортмэном, утверждающим, что даже во второй половине XIX в. Россия представляла со-

---

[49] Wren M. The Western Impact upon Tsarist Russia. N. Y., 1976, p. 67.

[50] Clarkson J. Russia. An Essay at Perspective, p. 108.

[51] Roberts H. Russia and the West. A. Comparlson, and Contrast, p. 254.

[52] Р. Мэтьюсон считает, в частности, что русская культура могла существовать лишь в связи с культурой Европы, (см.: Matthewson R. Op. cit., p. 417).

[53] Toynbee on Toynbee. A Conversation between Arnold J. Toynbee and Dr. Urban. N. Y., 1974, p. 81.

бою мир, к которому не подходили полностью «европейские категории», и поэтому определение ее в качестве европейской страны является скорее пожеланием, чем обоснованным заключением [54]. В свете этого замечания представляется отнюдь не случайной характеристика русского самодержавия, данная в статье об абсолютизме, помещенной в изданной в США известной своей антикоммунистической направленностью энциклопедии «Марксизм, коммунизм и западное общество». Автор статьи Р. Фирхауз совершенно в духе «евразийской» теории утверждает, что автократия русских царей была «исторически независимой силой» и «не может быть квалифицирована как разновидность европейской абсолютной монархии, как бы тесно она ни приближалась к ней в модернизации своих форм и рационализации своей практики» [55].

Таким образом, выводы, к которым приходят в последнее время английские и американские исследователи, предлагающие новое решение проблемы отличия России в сравнении с государствами Запада, сводятся в конечном счете лишь к некоторой корректировке установок «евразийской» теории. В тех случаях, когда авторы пытаются осмыслить внутренние процессы и явления, обусловившие своеобразие русской истории, они, как и их предшественники — последовательные приверженцы «евразийской» теории, исходят (в духе геополитических концепций) из признания первостепенного влияния климатических условий и особенностей географического положения страны, которые обрекли Россию на изоляцию, а следовательно, и обусловили своеобразие ее социально-политического устройства, выразившегося в отсутствии феодализма и наличии авторитарной формы политической власти.

Таким образом, концепции, появившиеся в последнее время в качестве нового решения проблемы исторического своеобразия России, не отличаются в принципе от прежних «евразийских» трактовок. В них «евра-

---

[54] The Journal of Modern History, 1978, v. 50, N 1, p. 174.

[55] Vierhaus R. Absolutism. — In: Marxism, Communism, and Western Society. A Comparative Encyclopedia. N. Y., 1972, v. 1, p. 9.

зийская» теория получила лишь новую идеологическую окрашенность, определяемую конвергенционистскими установками буржуазных идеологов и политиков. Главная политическая цель новых трактовок состоит в том, чтобы обосновать на историческом материале неизбежность сближения разных социально-политических систем в один общий («uniform») тип, в котором ведущая роль будет принадлежать капитализму. Совершенно очевидно, например, что поисками именно такого общества озабочен Р. Виттрам, который, обозревая в ретроспективе историю отношений России и Европы, приходит в итоге к постановке вопроса, не является ли их «традиционная конфронтация» устаревшей, ибо, поясняет он свою мысль, «Россия ассимилировала все «западное», но не смогла стать более «европейской», так как та Европа, которая конфронтировала с нею в течение веков, уже не существует»[56]. Глубоко верным представляется в этой связи замечание Дж. Кларксона, что «интерпретация русского феномена» в сильной степени зависит от того, какой Россия видится в перспективе[57].

Разумеется, было бы неверно считать, что ошибочная трактовка Русского государства, его роли в развитии страны и определении ее исторического места всецело обусловлена лишь идеологическими задачами буржуазных исследователей. В генетической основе их теорий лежит присущее буржуазной историографии в целом (в том числе русской, к которой восходят истоки как «евразийской», так и целого ряда других концепций современных буржуазных авторов)[58] метафизическое представление об абсолютной независимости государственной организации от социально-классовой структуры общества.

Подмена сложного комплекса главных внутренних причин (закономерности и своеобразие социально-экономических процессов), обусловивших появление Русского государства, внешними факторами (физико-гео-

---

[56] Wittram R. Russia and Europa, p. 161—162.

[57] Clarkson J. Op. cit., p. 103.

[58] Нельзя не заметить здесь влияния идей русской государственной школы и, в частности, тезиса П. Н. Милюкова о детерминированности всего процесса исторического развития России государственным началом (см.: Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. Спб., 1900, с. 10).

графические условия, влияние Византии, татаро-монгольское господство), играющими лишь второстепенную роль в формировании русской государственности с ее действительными (а не надуманными) национальными отличительными чертами, привела буржуазных исследователей не только к неверному утверждению о принципиальном отличии государства в России от европейских форм политического устройства, но и к ряду других ошибочных выводов и заключений. К числу наиболее общих из них, имеющих методологический характер, относится проблема взаимоотношения общества и государства.

2. Проблема соотношения общества и государства в русском историческом процессе. Концепция «преемственности» и модель «тоталитаризма»

«Евразийская» теория была продолжена и развита в ряде других концепций буржуазных историков относительно характера русского исторического процесса, его основных закономерностей и своеобразия. Ее главные положения нашли свое законченное выражение в освещении вопроса о соотношении общества и государства. Проблема решается в рассматриваемой нами литературе с позиций представления о Русском государстве не как о целостном общественном организме, жизнь которого обусловлена объективными социально-экономическими процессами, но как о расчлененном на отдельные, генетически не связанные между собой структуры: политическую власть и «общество», устроенное ею, исходя из задач наиболее эффективного управления страной. При этом правящая власть (государство) выступает, в их трактовке, в качестве некоей совершенно самостоятельной, самодовлеющей силы, являющейся главным и единственным движущим началом социально-экономического развития страны в целом. Общество же изображается как социальная структура, развивающаяся под непосредственным влиянием государства и только благодаря этому влиянию.

Такой подход к освещению русской истории полностью согласуется с гипертрофией места и роли само-

державной власти в России. Согласно доминирующей в буржуазной историографии «евразийской» схеме, самодержавное государство, будучи русской разновидностью восточной деспотии или, как считает Пайпс, классическим примером «патримониального» строя, создало в стране порядок, при котором вся общественная жизнь полностью и безраздельно зависела от правительства. Основой ее движения были принимавшиеся властью решения, принципы и практика правительства «управлять декретированием» [59].

Это обстоятельство обусловило, по мнению исследователей, своеобразие социальной структуры страны, ее «упрощенность», проявившуюся прежде всего в отсутствии феодализма. Так, Т. Самуэли утверждает, например. что русское государство до монгольского завоевания было не феодальным, а рабовладельческим с тысячами мелких изолированных крестьянских общин. Правда, оговаривается он, рабовладение не было здесь развито в такой степени, как в Риме и Греции, но тем не менее составляло яркую специфическую черту, отличавшую русское государство от европейских стран [60]. Что же касается дальнейшего развития страны, то сложившаяся в ней по типу монгольской авторитарная форма правления полностью исключала самое возможность формирования феодализма, поскольку последний, по мнению историка, несовместим с наличием крепкой централизованной политической власти, каковая существовала в России [61].

Определяющим признаком феодального общества, считает Самуэли, является бессилие и фрагментарность правительственной власти. Ее неспособность к выполнению своей главной функции — организации защиты страны заставляла людей обращаться к протекции сильных. Это и приводило в конечном счете к установлению феодальных отношений. «Феодализм вырос там,— пишет он,— где частное право вытесняло общественное и где общественный долг оказался замененным личной обязанностью» [62].

---

[59] Pipes R. Russia under the Old Regime, p. 30.
[60] Szamuely Th. Op. cit., p. IX, X.
[61] Ibid., p. 13.
[62] Ibid., p. 76.

Таким образом, в основу феодальной формации Самуэли кладет не отношения собственности, а принцип вассалитета, трактуемый им как воплощение чисто договорных отношений.

Изложенная схема с некоторыми дополнениями и поправками широко варьируется в научных и популярных изданиях английских и американских авторов. Г. Сетон-Уотсон, например, объясняя господство в России авторитарной власти и доказывая ее мнимую непохожесть на все другие формы абсолютизма в странах Западной Европы, делает акцент на том, что Россия миновала в своем развитии как феодальную, так и капиталистическую стадию [63]. Определяя феодализм главным образом как политическую организацию, он заключает, что наличие в стране крупной земельной аристократии (дворянства) и зависимых от нее крепостных крестьян отнюдь не дает основания считать Россию в прошлом феодальной страной. Феодализм, по его мнению, не сложился здесь в систему, поскольку дворянство не имело своей корпоративной организации, а его права и обязанности по отношению к своим подданным не были закреплены законодательно, как в странах Западной Европы. В результате поместное дворянство в России, считает он, не являлось автономным фактором, влияющим на историю своей страны. Существовала ситуация, когда ни одна социальная группа не обладала политической властью, безраздельно принадлежавшей царю [64].

Аналогичную позицию занимает Р. Пайпс. Вопреки действительным общеизвестным фактам он утверждает, что в России вообще не существовали «элементы», которые определяли на Западе суть феодального строя (политическая раздробленность, вассалитет, условное землевладение). Если же таковые и имелись, то в ином историческом контексте они выступали в совершенно видоизмененной форме и приводили в результате к принципи-

---

[63] Seton-Watson H. The Russian Empire. 1807—1917. Oxford, 1967, p. 12.
[64] Ibidem.

ально другим отношениям [65]. Как бы заключая все эти рассуждения, Б. Вольф пишет: «Россия знала длительное всеобъемлющее крепостничество, но не феодализм» [66].

Представление о том, что в России не было феодализма, является в настоящее время господствующим среди историков Запада. В лучшем случае, как отмечает немецкий историк-марксист Г. Фойгт, они допускают возможность говорить лишь о феодализме «особого русского типа», в котором при соизмерении с западной моделью различия «по меньшей мере перевешивают сходство» [67].

Рассмотренные взгляды убеждают, что общим для буржуазных исследователей является понимание феодализма не как особой социально-экономической формации с присущей ей формой собственности и соответствующими производственными отношениями, но как своеобразной политической системы с характерной для феодальных обществ стран Западной Европы иерархической социальной структурой [68]. Таким образом, здесь отрицается вообще наличие социально-экономической формации как таковой и в результате оказывается несостоятельной сама методологическая основа, на которой строятся все эти рассуждения.

В основе такого понимания феодализма лежит признание в качестве детерминанты исторического развития политического фактора. Правящая власть выступает как некая неизменяющаяся вневременная структура, определяющая собою исторический процесс со всем присущим ему национальным своеобразием. Такой подход полностью согласуется с характерной для «евразийской»

---

[65] Pipes R. Russia under the Old Regime, p. 50.

[66] Wolf B. Backwardness and Industrialization in Russian History and Thought, p. 181.

[67] Voigt G. Historiographie und «Kommunismusforschung». Zur Dartstellung der Geschichte der UdSSR in der bürgerlichen Literatur der BRD.— In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, 1976, N 5, S. 510.

[68] Распространенность такого понимания феодализма в американской историографии подтверждается обсуждением докладов на встрече советских и американских историков, состоявшейся в августе 1975 г. в Стенфордском университете (см.: Тихвинский С. Л. Второй советско-американский коллоквиум историков.— Вопросы истории, 1975, № 1, с. 174—175).

теории гипертрофией места и роли самодержавной власти в истории России и всецело укладывается в рамки традиционного понимания буржуазной социологией развития общества как эволюционного процесса хозяйственных изменений в производстве материальных благ, при котором теряется грань между социально-экономическими процессами и политическими переворотами.

Основные вехи господствующей в буржуазной литературе трактовки движущих сил русской истории сводятся к следующему. Давящий режим авторитарной власти, проникнув во все поры общественного организма, извратил социально-политическую историю страны. Народ и государство превратились в две противоположные, вечно враждующие между собою силы. Нарушился гармонический ход поступательного развития страны. Она оказалась оторванной от демократических идеалов и институтов Запада, миновав в своей истории не только феодальную, но и капиталистическую стадии в их классическом западном проявлении. Самодержавие стало единственным творцом и регулятором имевших место в стране общественно-политических процессов, нарушив их естественноисторический ход [69]. Создалась ситуация, когда вместо организованного общества, разделенного на отдельные автономные социальные группы, как это было на Западе, в России автократии противостояла бесформенная в социальном и культурном отношении масса [70], оказавшаяся не в состоянии хоть в какой-то степени ограничить политическую власть [71].

В результате согласно утвердившейся в буржуазной историографии схеме гипертрофия политической власти в России привела к тому, что «причинные отношения» оказались здесь «перевернутыми». В то время как на Западе социально-политическая система была порождением «автономного развития» общества, в России, напротив, само государство создавало условия экономического роста, культурного и политического раз-

---

[69] Anderson Th. Russian Political Thought. An Introduction. N. Y., 1967, p. 64; Fainsod M. How Russia is Rulled. Cambridge, 1963, p. 5.

[70] Roos H. Op. cit., S. 83.

[71] Pipes R. Op. cit., p. XXI.

вития страны[72]. Следствием этого явилась-де «упрощенность» ее социальной структуры в отличие от сложных «плюралистических» обществ Западной Европы.

Основой подобного рода выводов является присущее буржуазной историографии вообще, в том числе русской дореволюционной буржуазной историографии, непонимание классовой сущности государства, трактовка его в качестве некоей самодовлеющей силы, способной к саморазвитию и самодвижению, что, по мнению рассматриваемых авторов, и нашло свое законченное выражение в Русском государстве в связи с его национальным своеобразием и спецификой его истории.

Сведение основного отличия русского социально-политического устройства к разделению на две главные составляющие его структуры («государство» и «общество») и соответствующая интерпретация русской истории как непрекращающейся вражды между ними привели буржуазных исследователей к выводу об особой, присущей только России «преемственности» ее истории. В настоящее время этот тезис приобретает все большую значимость в рассматриваемой нами историографии, получив здесь дальнейшее развитие и вылившись в особую концепцию, явившуюся одним из вариантов теоретического обоснования главного вывода «евразийства» об исключительности исторического пути развития России.

Появившись еще в 40-е гг. в качестве дополнения и продолжения давно утвердившегося в буржуазной исторической мысли Запада тезиса об особых исторических судьбах России и русского народа, концепция «преемственности» восходит своими истоками к «веховской» идеологии и встречает затем рьяных проповедников и защитников в лагере белоэмигрантов, стремившихся «объяснить» с помощью этой концепции возникновение «большевизма». Известный меньшевик Ф. Дан утверждал, например, что большевизм явился «естественным продуктом» борьбы русской интеллигенции предшествовавших этапов и законным преемником ее идейно-тео-

---

[72] Janos A. The Communist Theory of the State and Revolution. — In: Communism and Revolution/Ed. by C. Black, Th. Thornton. Princeton, 1964, p. 32.

ретического наследия[73]. Трактуя революционно-демократическое движение в качестве чисто интеллигентского, с четко проявившейся в нем психологией «отщепенства», отражавшей социальное положение разночинца, меньшевистские авторы пытались доказать заговорщический характер идеологии и политической практики большевизма[74].

Современная английская и американская буржуазная историография ставит более широкую задачу, стремясь доказать также, что советский социально-политический строй не несет в себе ничего принципиально нового, а является прямым наследником и продолжателем самодержавного режима царской монархии. В предисловии к сборнику статей «Преемственность и изменения в русской и советской мысли» американский исследователь Д. Симмонс пишет: «Идея советской власти совершенно определенно уходит своими корнями в прошлое России»[75]. Его коллега Р. Дэниельс считает не более как «идеологическим мифом» вывод о том, что советский социалистический строй есть нечто совершенно иное в сравнении с общественным порядком дореволюционной России[76]. «Современная Россия, как и любая другая страна,— повторяет эту же мысль профессор Монтанского университета М. Уорен,— не может стереть с себя отпечаток прошлого»[77].

В основе этих утверждений лежит признание значительной роли специфических национальных черт в жизни каждой страны. «В истории нет ничего «неизбежного», кроме того, что люди ведут себя всегда в соответствии с их традициями, привычками и осознанными предрассудками»,— утверждает известный английский

---

[73] Dan Th. The Origin of Bolshevism. London, 1964, p. 4.

[74] Л. И. Аксельрод называла революционных народников «фанатиками-сектантами» (см.: Аксельрод Л. И. Из моих воспоминаний о Г. В. Плеханове. — Под знаменем марксизма, 1922, № 5—6, с. 80).

[75] Continuity and Change in Russian and Soviet Thought. Cambridge, 1955, p. 5. (В сборнике помещены материалы конференции по вопросам русской дореволюционной и советской мысли, состоявшейся в 1954 г. в Арден-Хаусе, США).

[76] Daniels R. Russia. Englewood Cliffs, 1964, p. 26.

[77] Wren M. The Course of Russian History. N. Y., 1958, p. XVIII.

антикоммунист Л. Шапиро в предисловии к книге Ф. Дана «Происхождение большевизма» [78].

Это положение является исходным в обосновании сторонниками концепции «преемственности» идеи определяющего влияния на судьбы России традиций, рожденных национальным своеобразием страны. Согласно их утверждениям наиболее яркой специфической чертой русской истории явилась необычайная стабильность основных социально-политических учреждений и связанных с ними отношений. Роль национальных традиций была, по их мнению, в России так велика, что обусловила фактически равнозначность всех периодов ее истории [79].

Подменяя понятие исторической закономерности субъективно-идеалистическими рассуждениями на тему о специфических чертах русской нации, рассматриваемые авторы видят их истоки в авторитарной форме политической власти в России, обусловившей своеобразие общественного устройства страны. В их трактовке самодержавие выступало в качестве главного стержня, вокруг которого вращалась жизнь всех слоев и групп населения страны по раз и навсегда установленным им канонам. И поскольку этот порядок оставался неизменным (его стабильность определялась постоянством цели — сохранить незыблемым авторитарный строй), постольку сама общественная жизнь не могла качественно изменяться в своем содержании, представляя собой лишь процесс количественных сдвигов и продолжая передавать из поколения в поколение веками сложившиеся принципы, традиции и институты.

Таким образом, специфика общественного развития России в изображении буржуазных авторов заключалась в том, что политическая власть здесь с самого начала оказалась единственной творящей силой исторического процесса, главным источником всех внутригосударственных изменений. Неизбежным логическим следствием сложившихся условий была якобы особая, свой-

---

[78] Dan Th. Op. cit., p. XII.

[79] Подробнее о сути концепции «преемственности» см.: Данилова Л. В., Марушкин Б. И., Панкратова М. Г. Буржуазные историки на службе антикоммунизма. М., 1962, с. 8; Марушкин Б. И. История и политика, с. 119.

ственная только России устойчивость общественно-политических учреждений, установлений и обычаев, сохранившихся, несмотря на бурные перемены, хаотические перевороты и неожиданные нововведения [80].

Кроме того, и это особо выделяется в качестве главного конституирующего элемента преемственности процесса исторического развития России, прямым логическим результатом гипертрофии политической власти явилось то, что принципы авторитарной идеологии должны были обрести и действительно обрели доминирующее влияние на всю общественную жизнь. Естественно, что в этих условиях наиболее прочная преемственность укоренившихся традиций сложилась в политическом мышлении страны. Это нашло свое выражение, по мнению рассматриваемых историков, в том прежде всего, что автократия как политическая форма пользовалась наиболее широкой поддержкой среди не только консервативно, но и либерально настроенных слоев и элементов общества. Особенно это характерно, как утверждается, для России пореформенного периода, когда правительственная программа реформ в сильной мере содействовала поступательному социально-экономическому развитию страны и поэтому, как заявляет, в частности, американский исследователь Ц. Блэк, никакая другая политическая альтернатива, кроме автократии, не пользовалась широкой поддержкой [81]. По мнению Р. Пайпса, высказанному им в докладе на XIII Международном конгрессе историков в Москве, авторитарная идеология, оформившаяся в Русском государстве в XV в., «приобрела доминирующие роль и влияние в политическом мышлении и практике России» в последующее время [82].

---

[80] Szamuely Th. Op. cit., p. 6.

[81] Ц. Блэк утверждает, что даже накануне 1917 г. в России «...баланс внутреннего политического опыта сильно перевешивал в сторону тех лидеров, которые предпочитали следовать авторитарным методам управления», и поэтому «никакая другая альтернатива не имела столь широкой опоры» (Black C. No Political Alternative to Autokracy had Adequate Support. — In: Imperial Russia After 1861, Boston, 1965, p. 96).

[82] Pipes R. Russian Conservatism in the Second Half of the Nineteenth-Century. Moscow, 1970, p. 1. Следует добавить, что здесь же усматриваются корни традиционного крестьянского монархизма (см.: Gleason A. Young Russia. The Genesis of Russian Radicalism in the 1860-s. N. Y., 1980, p. 6).

Вывод сторонников концепции «преемственности» о том, что в самодержавной России с ее господством принципов авторитарной идеологии наиболее прочная преемственность национальных традиций существовала в общественно-политической мысли, которая и обусловила непосредственно преемственность различных этапов истории страны, особенно отчетливо раскрывает методологический характер самой концепции. Она дает буржуазным авторам возможность в противовес марксистскому диалектическому пониманию взаимоотношений теоретического идеала и действительности трактовать рождение и развитие революционной идеологии как простую филиацию идей. В результате революционное движение отнюдь не являлось, в их трактовке, следствием реальных социальных процессов, а революционные концепции соответственно не были теоретическим выражением осознания революционными мыслителями классовых противоречий и конфликтов. Они изображаются в качестве облеченных в авторитарную форму чувств и настроений отчужденных от господствовавшего режима и общества и в силу этого утративших психологическое равновесие слоев интеллигенции.

Убедительным подтверждением такого понимания сути революционных процессов являются рассуждения А. Тойнби о содержании понятий «пролетариат» и «пролетаризация». Расширительно трактуя пролетариат как неоднородную социальную сферу, включающую представителей всех слоев населения [83], он считает, что роль пролетариата и его революционный настрой определяются вовсе не положением его в системе производственных отношений, а «чувством обиды», вызванным осознанием духовной и психологической отчужденности от своего наследственного места в обществе, чувством своей неустроенности в существующей социальной системе [84].

Следуя логике этих построений, революционеры выступают как личности, лишившиеся правильной моральной ориентации и вычеркнувшие себя из сферы полез-

---

[83] Тойнби зачисляет в ряды пролетариата и всю русскую интеллигенцию, в той или иной степени оппозиционно настроенную к царизму (см.: Toynbee on Toynbee, p. 94, 95).

[84] Ibid., p. 93—96.

ной созидательной деятельности, что неизбежно приводит их к саморазрушению. Мысль эта особенно рельефно выражена в словах Ю. Мэтвина. «Революционный радикализм,— пишет он,— разрушает созидательную способность человека и саму его природу как существа мыслящего» [85].

Концепция «преемственности» и трактовка взаимоотношений общества и государства в русском историческом процессе, как и все другие теоретико-методологические модели и схемы буржуазных историков, ставящие своей целью «раскрыть характер» русской истории, закономерности и своеобразие ее общественно-исторических процессов, имеют, кроме того, выраженную идеологическую антисоветскую направленность. При этом они призваны раскрыть с классовых позиций буржуазии тот главный механизм, который, по мнению авторов, обеспечивал историческое развитие общества в принципиально своеобразных условиях авторитарной страны, какою была Россия.

В этом контексте концепция «преемственности» является прямым продолжением и развитием «евразийской» теории, как и она, ставит своей задачей доказать полное отсутствие объективной почвы и даже каких-либо побудительных мотивов для формирования в России демократических традиций. Данный мотив являлся ведущим в период «холодной войны» и повторяется в работах последних лет. Как утверждает, например, Э. Крэнкшоу, автократическая система власти с течением времени настолько развратила русское общество, что стала ему уже просто необходимой [86].

Наиболее явственно эта целевая заданность концепции проявляется в попытках ее приверженцев обосновать тезис о том, что в самодержавной России идеология и методы борьбы революционной интеллигенции явились зеркальным отражением принципов, свойственных авторитарной власти. В их освещении суть дела заключалась в том, что самодержавие, обращаясь к насильственным авторитарным методам управления, неизбежно порождало адекватную реакцию оппозиционно настро-

---

[85] Methvin E. Op. cit., p. 16.

[86] Krankshow E. The Shadow of the Winter Palace. The Drift of Revolution. 1825—1917. London, 1976, p. 39, 43.

енной общественно-политической мысли. Общеизвестно, утверждает, например, американский исследователь М. Фейнсод [87], что в авторитарной политической системе оппозиция склонна к подражательству режиму, которому она противостоит. Непримиримость власти в политике порождает ту же бескомпромиссность в мысли, авторитарное управление приводит к авторитарному противодействию [88]. В конечном же счете, как считает Б. Вольф, революционное движение оказывается «столь же экстремистским», как и весь самодержавный строй [89].

Таким образом, говоря словами М. Фейнсода, в лице революционеров самодержавие «породило своих авторитарных антиподов и наделило их собственным специфическим контуром» [90]. К доказательству данного положения сводятся содержание и выводы большей части исследований буржуазных авторов, посвященных истории русского революционного движения. Отталкиваясь от мысли о преемственности идейно-теоретических и политических традиций, они пытаются доказать, что принципы авторитарной идеологии и власти, отразившись в революционно-демократическом движении и затем в ленинизме, нашли практическое воплощение в деятельности Советского государства. Обосновывая этот вывод, буржуазные авторы тщатся опровергнуть положение, что Советское государство заключает в себе совершенно новый порядок, понять который можно, изучая лишь его настоящее и историю с 1917 г. Серьезный подход к вопросу, считают они, немыслим без исследования отдаленнного прошлого России [91].

Действительный политический смысл такого рода изысканий со всей определенностью раскрывается Р. Пайпсом. Во введении к уже рассматривавшейся нами работе «Россия при старом режиме» Пайпс пишет,

---

[87] Известный политолог, признанный на Западе специалист по истории России. Был президентом Американской ассоциации политических наук и в 60-е гг. директором Русского исследовательского центра Гарвардского университета.

[88] Continuity and Change in Russian and Soviet Thought, p. 173.

[89] Wolf B. Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought, p. 178.

[90] Fainsod M. How Russia is Rulled. Cambridge, 1963, p. 3.

[91] Wren M. The Course of Russian History. N. Y., 1958, p. XVIII.

что он руководствовался поисками «корней тоталитаризма» XX в., которые-де и были обнаружены им в политической истории России[92]. Заявление Пайпса убедительно раскрывает политическую подоплеку концепции «преемственности». Она призвана теоретически обосновать пропагандистский тезис о «тоталитарном» характере советской политической системы, представить ее в качестве законной наследницы авторитарной царской монархии [93]. Американский исследователь Т. Андерсон утверждает, например, что диктатура пролетариата вернула Советскую Россию к царским временам, приведя к глубокой пропасти между народом и правительством [94]. Профессор Оксфордского университета Б. Сэмнер выделяет ряд черт, будто бы роднящих советский строй с режимом самодержавной монархии. Это — большая централизация власти, необычайно широкая сфера деятельности государства, разросшаяся бюрократия и широкое использование силы [95]. Несмотря на бурные эксперименты предшествовавших десятилетий, продолжает эту мысль Р. Дэниэльс, «в историческом, культурном, демографическом и географическом» отношениях Советская страна остается той же крупной мировой державой, какой была Российская империя [96].

Как явствует из всего сказанного, этот итоговый вывод зиждется на общепринятой в буржуазной историографии посылке об определяющей роли автократии в исторических судьбах России. В ее построениях самодержавие несет на себе всю тяжесть вины за осуществление Октябрьской революции: закрыв обществу дорогу к легальной деятельности и реформам, оно тем самым открыло путь революционным преобразованиям. «История есть движение,— пишет М. Фейнсод, аргументируя данное положение,— и правительства, избегая его за-

---

[92] Pipes R. Russia under the Old Regime, p. XXI.

[93] Подробнее о теории «тоталитаризма» см.: Марушкин Б. И. Советология: расчеты и просчеты, с. 105—107; Шутова В. А. Эволюция доктрины тоталитаризма в социологии США в 1960—1970-х гг. — В кн.: Методологические проблемы науки. Томск, 1978, с. 135—142.

[94] Anderson Th. Russian political Thought. N. Y., 1967, p. 369.

[95] Sumner B. Survey of Russian History. Duckworth, 1945, p. 57.

[96] Daniels R. Russia, p. 26.

вихрений, должны уметь склоняться перед штормами, которые они уже не в состоянии предупредить»[97].

Все разновидности концепции «преемственности» сводятся в конечном счете к этому заключению. Различия проявляются лишь в том, что считать первостепенной причиной, обеспечивающей главный механизм преемственности в русской истории, а именно преемственность общественной мысли. Старые догмы, выразившиеся в попытках усмотреть его основу в особом психологическом складе «русской души», проявлявшемся в ее творческой лености, склонности к подчинению авторитетам, закономерно вызывают к себе все более скептическое отношение. Такой взгляд на русскую историю, как замечает М. Фейнсод, является хотя и модным, но весьма «поверхностным». По его мнению, проблема слишком сложна, чтобы ее можно было решить с помощью «впечатляющих суждений» о русском национальном характере. Рамки анализа преемственности, считает он, должны включать также отличительные черты законодательства, способствовавшие тому, что народ России был плохо подготовлен к самоуправлению[98].

Мы видим, что критические замечания М. Фейнсода сводятся фактически к требованию более полного выявления аспектов влияния самодержавия на всю последующую общественно-политическую историю страны. Заметно возросший в последние годы интерес к истории русской бюрократии и ее отношений с правительственной властью обусловлен именно этой целью. Появившиеся по данной теме работы представляют собой поиски более убедительной аргументации тезиса об определяющей роли автократии в прошлой и настоящей истории страны[99].

Все рассмотренные построения буржуазных авторов убедительно свидетельствуют, что главная политическая задача, которую призвана решить концепция «преемственности», состоит в том, чтобы нейтрализовать

---

[97] Fainsod M. How Russia is Rulled, p. 36.
[98] Ibid., p. 3—4.
[99] См., напр.: Keep J. Light and Shade in the History of the Russian Administration. — Canadian Slavic Studies, 1972, v. 6, N 1, p. 1—9; Torke H. More Shade then Light. — Ibid., p. 10—12.

притягательную силу примера Октябрьской революции и Советской власти [100].

Многочисленные попытки доказать, что установленный в результате революции социально-политический строй не является радикальным отрицанием существовавшего ранее порядка и поэтому все достигнутые перемены могут быть осуществлены в ходе мирных преобразований, непосредственно связаны с решением этой задачи. Есть и другая, более общая цель — дискредитировать революцию как метод решения социальных проблем путем доказательства того, что Октябрьская революция должна была привести и привела к установлению антидемократического «тоталитарного» строя [101].

Обе задачи взаимно дополняют друг друга. Игнорируя коренное различие сущности и роли государства в капиталистическом и социалистическом обществе и обосновывая по аналогии с крайними формами диктатуры империалистических держав тезис о «тоталитарном» характере Советского государства, теория «тоталитаризма» и связанная с нею концепция «преемственности» отрицают смысл революции как радикального качественного скачка. Они ограничивают задачу революционных преобразований лишь сферой политических или правовых отношений [102] и пытаются обосновать вывод о том, что все революции неизбежно приводят к установлению «тоталитарных» режимов.

Идеологическая направленность концепции «преемственности» выступает здесь в столь откровенно неприкрытой форме, что вызывает серьезные сомнения в ее научной значимости даже в среде американских сове-

---

[100] Эта задача не перестает быть остро актуальной поскольку, как вынуждены признать современные идеологи антикоммунизма, осуществленная в Советском Союзе «программа модернизации... имеет значительное влияние на другие страны» (Black C. Revolution, Modernization, and Communism. — In: Communism and Revolution. The Strategie Uses of Political Violence. Princeton, 1964, p. 14).

[101] По утверждению советологов, все революции «неизбежно» разрушают «согласие, необходимое для порядка в обществе», и «требуются большие усилия, чтобы узаконить политику победителей». Кроме того, революции всегда имеют тенденцию становиться предметом спора в международных отношениях (см.: Black C. Revolution, Modernisation, and Communism, p. 4).

[102] Как убедительно показал Ю. А. Красин, в этом состоит главный смысл современной буржуазной «социологии революции» (см.: Красин Ю. А. Революцией устрашенные. М., 1975, с. 35).

тологов. Один из них, Г. Робертс, считает, что идея «преемственности» представляет собою «не более чем искусную формулу, предназначенную для того, чтобы избежать серьезного размышления» [103].

Критическое отношение к концепции «преемственности» является следствием нарастающего в западной историографии хора голосов, выражающих неудовлетворенность моделью «тоталитаризма». Все большее число исследователей сознает, что действительная реальность социалистической системы не вмещается в ее концептуальные рамки.

Убедительным доказательством растущего неприятия теории «тоталитаризма» является симпозиум, проведенный в 1967 г. журналом ««Slavic Review» [104]. Принявший в нем участие известный антикоммунист А. Мейер [105] был вынужден признать, что «некоторые черты», свойственные современной социалистической системе, в большей мере «ассоциируются с демократическим образом жизни, нежели с тоталитарной или бюрократической моделью» [106]. Тоталитарная модель признается некоторыми авторами слишком «статичной», чтобы адекватно объяснить «коммунистический мир».

Вместе с тем, доказывая ее несомненную «полезность» в прошлом и полагая, что в настоящее время нужна более «динамическая» концепция, чтобы отразить быстро развивающуюся и постоянно меняющуюся социалистическую систему, буржуазные авторы вовсе не считают, что она полностью утратила свою функциональную роль и должна быть немедленно упразднена [107]. По мнению некоторых из них, общественные науки Запада еще не достигли стадии, на которой можно было бы от-

---

[103] Марушкин Б. И. Советология: расчеты и просчеты, с. 33.

[104] См.: Slavic Review, 1967, v. XXVI, N 1, p. 1—28, 302—308.

[105] Профессор политических наук, известный своими антикоммунистическими взглядами. Был руководителем группы по изучению истории КПСС при Колумбийском университете. Автор трилогии «Марксизм» (1954), «Ленинизм» (1957), «Коммунизм» (1960) и целого ряда работ по истории России.

[106] Meyer A. The Comparative Study of Communist Political System. — Slavic Review, 1967, v. XXVI, N 1, p. 5.

[107] См., напр.: Jacobs D. Area Studies and Communist System. — Slavic Review, 1967, v. XXVI, N 1, p. 18; Sharlet R. Systematic Political Science and Communism System.— Slavic Review, 1967, v. XXVI, N 1, p. 26.

казаться от тоталитарной модели, и поэтому она должна быть сохранена по крайней мере до тех пор, пока не будет создано «что-нибудь» лучшее или не произойдут более «значительные перемены» в странах социализма [108]. Любопытно звучит при этом замечание, что если исследователи всерьез хотят подвинуться в изучении социалистических стран, новая модель должна включить в себя теорию «экономического детерминизма» [109].

Это признание есть не что иное, как симптом утверждения другого, становящегося все более популярным на Западе направления в исследовании истории России — технико-экономического детерминизма. Суть его (наиболее систематически выраженного в «теории стадий» У. Ростоу) заключается в отведении первенствующей роли в историческом развитии не политической надстройке, а процессу «модернизации», трактуемому в последнее время все более расширительно как универсальное обновление экономических, социальных и политических структур [110]. Отразив неудовлетворенность тоталитарной моделью, оно воплотило в себе поиски развития, альтернативного революционному пути. Конечная цель теории «модернизации» та же, что и теории «тоталитаризма»,— извратить значение социалистической революции в России. Ставя на первое место в истории процесс индустриализации и «модернизации», ее сторонники пытаются изобразить социалистическое строительство как простую имитацию западного пути.

В рассматриваемой нами историографии поддержка этого направления выразилась в неожиданной вспышке интереса к реформам Петра I, в преобразовательной деятельности которого усматриваются истоки «модернизации» России. Свидетельством этого интереса являются проведенная в ноябре 1972 г. Чикагским университетом конференция по теме «Петр I и его наследие», а также специальный выпуск журнала «Canadien Slavic Studies» (1974, № 2), посвященный широкому кругу

[108] Hollander P. Observation on Bureaucrasy, Totalitarianism, and Comparative Study of Communism. — Slavic Review, 1967, XXVI, N 1, p. 303—305.

[109] Hollander P. Op. cit., p. 307.

[110] См.: Крупина Т. Д. Теория «модернизации» и некоторые проблемы развития России конца XIX — начала XX вв. — История СССР, 1971, № 1, с. 191—205.

связанных с политикой Петра I проблем [111], и сборник, включивший ранее опубликованные статьи об экономическом развитии России от петровских времен до современности, под редакцией американского специалиста в области русской промышленности У. Блэквэла [112].

Обращает на себя внимание стремление представить политику Петра I как закономерный этап в общем курсе «модернизации» страны. Заслуга Петра I усматривается в том прежде всего, что своим энтузиазмом и энергией он пробудил желание и возможности людей действовать в поддержку и продолжение начатой им работы, создав тем самым «психологические основания» для развития экономики своего времени [113]. Положенные им начала были заторможены в своем развитии сложившимися в результате монгольского влияния административно-политическими институтами и социальной структурой, хотя последние не прервали совершенно общий процесс начавшейся «модернизации». С новой силой и на новой основе он продолжался после буржуазных реформ 2-й половины XIX в. и особенно широко развернулся во времена деятельности Витте [114]. Новый период русской истории, начавшийся после первой мировой войны и Октябрьской революции, согласно этой схеме, характеризуется продолжением курса индустриализации, основы которого были заложены в царской России [115]. Особенность процесса «модернизации» в России в отличие от западных стран усматривается в том, что в силу исторической отсталости страны он обошелся ей слишком дорогой ценой.

Как видно из этого краткого абриса сути направления технико-экономического детермизма в исследовании русской истории, оно, несомненно, вобрало в себя некоторое влияние марксистской методологии и новейших

---

[111] Canadien Slavic Studies, 1974, v. 8, N 2, Special Issue: The Reign of Peter I, p. 173—303.

[112] Russian Economic Development from Peter the Greate to Stalin. N. Y., 1974.

[113] Blanc S. The Economic Policy of Peter the Greate. — In: Russian Economic Development from Peter the Greate to Stalin, p. 49.

[114] Blackwell W. Introduction. — In: Russian Economic Development from Peter the Greate to Stalin, p. XXI—XXV, XXVIII.

[115] Ibid., p. XXIX, XXXIV.

исследований советских авторов, проявившееся в обращении к явлениям базисного порядка. Однако и здесь мы видим стремление представить исторический процесс прежде всего как следствие целенаправленной деятельности политической власти — вывод, сближающий между собою теорию «модернизации» и «тоталитарную» модель и дающий возможность сторонникам нового направления использовать концепцию «преемственности» в качестве своей теоретической основы.

Таким образом, концепция «преемственности» не исчерпала своей функциональной роли. В настоящее время она является своего рода связующим звеном между направлениями политического и технико-экономического детерминизма, возмещая в известной степени недостаток в интегрирующей теории, так остро ощущаемый сейчас в буржуазной историографии.

Все это лишний раз раскрывает политическую подоплеку этой концепции. Доказывая глубокое внутреннее родство качественно различных общественно-политических систем — советской социалистической и дореволюционного строя и отрицая тем самым смысл революции как радикального качественного скачка, она призвана дискредитировать революцию как метод решения социальных проблем.

Вместе с тем было бы упрощением объяснять происхождение и смысл концепции «преемственности» только с точки зрения ее политической заданности. Она представляет собой одну из многочисленных попыток объяснить суть исторического процесса, механизм его движения и в этом смысле заключает в себе поиски методологического плана, отражая характерные для современной буржуазной историографии ненаучные представления.

В результате же и сейчас с помощью концепции «преемственности» обосновывается в духе «евразийской» теории старый тезис о России не только как отсталой стране в сравнении с европейскими странами, но и как о некоей еще не разгаданной, но мощной злой силе, противостоящей «демократическому» Западу. Этот вывод призвана обосновать и вся соответствующим образом интерпретируемая буржуазными авторами история русского революционно-демократического движения.

Глава II

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И МЫСЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

1. Проблема социальной природы и национального своеобразия русской революционно-демократической интеллигенции

Исходным положением в освещении современными буржуазными авторами русского революционно-демократического движения является тезис о коренном своеобразии русской интеллигенции как следствии специфики исторического развития страны.

Постулируя в духе «евразийской» теории вывод об уникальной форме политической власти и своеобразной социальной структуре России, исследователи приходят к заключению, что ее история, по крайней мере со времени правления Петра I, являла собою борьбу двух сугубо национальных, присущих только данной стране традиций — государственной и революционной [1].

Суть первой заключалась в гипертрофии правящей власти, воплотившей в себе тип «вотчинного» государства, или род восточной деспотии. Другая нашла свое выражение в действиях интеллигенции, оказавшейся с самого начала оппозиционной по отношению к правящей власти группой и использовавшей в своих действиях столь же экстремистские методы, что и правительст-

[1] Следует отметить, что традиция рассматривается буржуазными историками как «наиболее важное» проявление социального и культурного опыта, как «самый прочный элемент в общесоциальной культурной конструкции реальности» (см.: Eisenstadt S. Intellectuals and Tradition. — Daedalus, 1972, v. 101, N 2, p. 3).

во[2]. Борьба этих двух традиций и обусловила, по мнению рассматриваемых историков, содержание и основное своеобразие русского общественного движения и роль в нем революционной интеллигенции.

При таком освещении особенностей русской истории, когда анализ классовых антагонизмов подменяется рассуждением о неких абстрактных противоречиях между государством, с одной стороны, и революционной интеллигенцией — с другой (народу же при этом отводится роль лишь пассивного стороннего наблюдателя, чьи симпатии и расположение были явно на стороне правящей власти), перед буржуазными авторами неизбежно вставали вопросы: что же такое русская радикальная интеллигенция, какова ее социальная природа, в чем заключалось и на чем основывалось ее кредо, определившее смысл всех ее идейно-теоретических и практических революционных исканий.

В современной английской и американской, как и во всей буржуазной историографии, существует множество определений русской революционной интеллигенции[3]. Все они представляют собой, как правило, разного рода спекулятивные, лишенные объективной научной основы, чисто умозрительные построения, неспособные раскрыть действительную природу интеллигенции и дать ей правильное научное определение как социальной группы со всеми вытекающими из ее сущностных черт характеристиками. При этом ведущей тенденцией с давних пор является стремление «психологизировать» свойственные интеллигенции качества, вывести их из «угнетающего чувства» ее социальной и политической изоляции.

---

[2] См., напр.: Daniels R. Lenin and the Russian Revolutionary Tradition. — In: Russian Thought and Politiks; Pravdin N. The Unmentionable Nechaev. A Key to Bolshevism. London, 1961; Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia. — The Slavic and East European Journal, 1957, v. 1, N 1; Szamuely Th. The Russian Tradition. London, 1974.

[3] Автор статьи об интеллигенции в энциклопедии «Марксизм, коммунизм и западное общество» западногерманский исследователь К. фон Бейме насчитывает к началу 70-х гг. более шестидесяти имеющихся в западной литературе различных определений интеллигенции (см.: Beyme K. von. Intellectuals, Intelligentsia. — In: Marxism, Communism, and Western Society. N. Y., 1972, v. 4, p. 301).

Согласно давно утвердившейся и вплоть до последнего времени являвшейся в буржуазной историографии доминирующей схеме русская интеллигенция была не следствием естественноисторического развития страны, но побочным продуктом ее «вестернизации». Будучи наиболее европеизированным слоем русского общества, она, по мнению рассматриваемых авторов, с самого начала оказалась в положении обособленной социальной группы, изолированной от масс и враждебно настроенной к правительству, поскольку-де уже само приобщение ее к западному «стилю образования» и культуре несло в себе критический заряд по отношению к отсталой социально-политической системе страны [4]. Наличие же в России самодержавной власти с ее презрением к закону и правопорядку еще более усилило отчуждение интеллигенции, полностью отстранив ее от участия в общественно-политической жизни страны [5].

Положение отчужденной от общества и государства социальной группы, в котором, по общему признанию буржуазных исследователей, оказалась с самого начала русская интеллигенция, придавало ей особую, уникальную индивидуальность, непохожесть на подобные ей социальные группы в остальных странах мира [6]. Это своеобразие русской интеллигенции заключалось в том прежде всего, что она, не будучи результатом органического процесса исторического развития своей страны, оказалась группой, не связанной никакими социальными критериями — юридическим статусом, собственностью, рождением или сословно-классовыми привилегиями (и потому в своих идейных устремлениях не нуждалась в поддержке ни «властей», ни «народа», ни «какого-либо другого Молоха») [7]. Естественно, что логическим следствием такого положения явилось стремление ее к радикальному переустройству об-

[4] См., напр.: Seton-Watson H. The Russian Empire. 1901—1917. Oxford, 1967, p. 226; Keep J. The Rise of Social-Democracy in Russia. Oxford, 1963, p. 11.

[5] Fainsod M. How Russia is Rulled. Cambridge, 1963, p. 5.

[6] Haimson L. The Russian Marxism and the Origin Bolshevism. Cambridge, 1955, p. 5.

[7] Szamuely Th. The Russian Tradition, London, 1974, p. 144; Nahirny V. The Russian Intelligentsia: from Men of Ideas to Men of Convictions. — Comparative Studies in Society and History, 1962, v. IV, N 4, p. 408.

щественной системы. Чтобы преодолеть свою изоляцию и вписаться в существовавшую социальную структуру, интеллигенция должна была попытаться изменить ее, поэтому самой яркой специфической характеристикой русской интеллигенции, определившей все другие свойственные ей черты, была, как утверждают буржуазные авторы, ее изначальная приверженность к революционному способу социального действия. Стремление к революции становится, по их мнению, смыслом всего существования интеллигенции с момента осознания ею себя в качестве определенной социальной общности.

Другими словами, русская интеллигенция уже с самого своего появления формируется как революционная сила, стремящаяся к насильственному ниспровержению существовавшего порядка. Являясь социально отчужденной и потому оторванной от практической общественной деятельности группой, а также будучи полностью лишенной каких-либо материальных целей и интересов, она, согласно утверждению рассматриваемых исследователей, выступала всегда лишь орудием разрушения, а не созидания и тем самым полностью утратила «способность действовать для общества»[8].

Таким образом, все без исключения буржуазные исследователи сходятся в том, что в силу своеобразия социального статуса русской интеллигенции ее неотъемлемой органической чертой была приверженность к революции. Сам термин «интеллигенция» вплоть до последнего времени считался в буржуазной историографии специфически русским термином и использовался авторами в качестве синонима для обозначения деятелей лишь радикального слоя[9]. Так, Т. Самуэли утверждает, например, что русская интеллигенция с самого начала

---

[8] Tidmarch K. Lev Tichomirov and a Crisis of Russian Radicalism. — The Russian Review, 1961, v. 20, N 1, p. 47—48.

[9] Г. Бауман, например, утверждал, что слово «интеллигенция», происходящее от латинского «понимать», в России полностью утратило свой первоначальный смысл, обретя совершенно новое специфическое значение (см.: Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia.— The Slavic European Journal, 1957, v. I, N 1, p. 5). Первым эту мысль высказал Ф. Дан, заявивший, что слово «интеллигенция» является специфически русским и поэтому выразить его точный смысл на другом языке невозможно (см.: Dan Th. The Origin of Bolshevism. London, 1964, p. 49).

сложилась как сила разрушительная и представляла собой единственную в Европе социальную группу, преданную в нескольких поколениях идее революции, являвшейся для нее главной целью и смыслом всего существования [10]. Как группу, обладавшую «специфическими взглядами, направленными на ликвидацию существовавшей системы», «фанатично преданную делу революции», характеризуют интеллигенцию и другие авторы [11].

Трактовка русской интеллигенции в качестве уникальной социальной общности, которая самим ходом истории своей страны была обречена на революционную борьбу, как единственно возможный в национально своеобразных условиях способ политической деятельности и самого ее существования, появилась в буржуазной историографии со времени Октябрьской революции и все более утверждалась в последующее время. Такой подход наилучшим образом отвечал классовым целям империалистической буржуазии. Освещая Октябрьскую революцию как прямой результат деятельности интеллигенции (специфически национальной социальной группы), он в то же время призван был обосновать вывод о невозможности революции в других странах.

В настоящее время, однако, такая характеристика русской интеллигенции уже не кажется самим буржуазным идеологам вполне исчерпывающей и убедительной. В условиях роста революционного движения во всем мире приверженность к революционным методам решения общественных проблем не может быть безоговорочно принята в качестве специфической черты, присущей лишь русской интеллигенции, и служить достаточным основанием для определения ее как национально своеобразной группы. Являясь слишком общим, не выражающим конкретного смысла ее революционных теорий и целей борьбы, это определение, естественно, не в состоянии удовлетворить и самих буржуазных исследователей.

---

[10] Szamuely Th. Op. cit., p. 246.

[11] Stepun F. The Russian Intelligentsia and Bolshevism.— The Russian Review, 1958, v. 17, N 4, p. 268; Tompkins S. The Russian Intelligentsia, Norman, 1957, p. 221; Weeks A. The First Bolshevik. A Political Biography of Peter Tkachev. N. Y., London, 1968, p. 112; Daniels R. Lenin and the Russian Revolutionary Tradition. — In: Russian Thought and Politik. Cambridge, 1957, p. 349.

Все предпринимаемые ими попытки выделить основные, наиболее устойчивые признаки русской интеллигенции, определяющие ее социальную природу, при игнорировании единственно научного классового критерия приводят лишь к абсолютизации какой-либо произвольно избранной черты, не раскрывающей существенного содержания и исторической роли интеллигенции и ее радикальных слоев. Так, одни исследователи отмечают в качестве ведущей характеристики русской интеллигенции ее исключительную по силе страстность, с которой она отдавалась служению своим целям и идеалам [12], другие видят ее главное отличительное свойство в тяготении к этическим проблемам [13], наконец, третьи склонны сводить историю интеллигенции к истории ее интеллектуальных исканий, отмечая при этом особую веру ее в силу науки. По мнению А. Вусинича, например, «самой отличительной чертой» русской радикальной интеллигенции было признание ею выдающейся роли науки в поступательном развитии общества [14].

Нередко разные историки разрывают эти аспекты духовной деятельности интеллигенции [15] и даже противопоставляют их друг другу, приходя в результате к прямо противоположным выводам. Подчеркивая тяготение русской интеллигенции к нравственно-этическим нормам, Л. Шапиро утверждает, в частности, что это неизбежно оборачивалось для нее «презрением» не только к за-

---

[12] Nagirny V. Op. cit., p. 433—434.

[13] Billington J. Icon and the Axe. N. Y., 1966, p. 233; Mc Connel A. The Origin of the Russian Intelligentsia. — The Slavic and East European Journal, 1964, v. 8, N 1, p. 6.

Главную причину нравственных исканий интеллигенции Дж. Биллингтон усматривает в ее «личных этических конфликтах» с правящей аристократией, сводя таким образом смысл волновавших интеллигенцию проблем к моральному разложению социальной элиты страны. (Billington J. Op. cit., p. 262—263).

[14] Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. The Quest for the General Science of Society. 1861—1917. Chicago, London, 1976, p. 4; См. также: Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia, p. 12.

[15] Р. Киндерслей утверждает, например, что нравственные проблемы отвлекали русских революционеров от «серьезной философской работы» (Kindersly R. The First Russian Revolutionists. A Study of «Legal Marxism» in Russia. Oxford, 1962, p. 6).

кону, но и к науке [16]. Г. Бауман же, напротив, полагает, что в среде радикальной интеллигенции существовал «культ» науки, достигавший уровня почти религиозного почитания [17].

Имеющиеся противоречия в освещении основных характеристик русской революционной интеллигенции и даже, как было отмечено, наличие взаимоисключающих положений, отчетливо отражают недостаток подлинно научной методологии, что все более начинают осознавать сейчас и сами буржуазные исследователи. Например, американский историк Д. Броуэр, в свое время сам отдавший дань традиционной трактовке интеллигенции как уникальной социальной группы [18], в недавно вышедшей работе выражает острую неудовлетворенность современным состоянием изученности ее истории. Он считает, что до сих пор историками не выявлены существенные черты интеллигенции, которые бы позволили охарактеризовать ее как единое целое. В результате интеллигенция предстает, по его мнению, в большей мере как «плод воображения», нежели реально действующая социальная группа [19]. Причину этого он видит в отсутствии четких научных критериев исследования [20].

Показателен также вывод, к которому пришел историк из ФРГ В. Шмидт. Он посвятил свою статью обоснованию того, что любая существующая в настоящее время гипотеза о природе русского нигилизма и «нигилистов» размывается сложным опытом «реальной жизни» и «реальных нигилистов» [21].

Подобного рода критические оценки английских и американских авторов в последнее время (примерно с конца 60-х гг.) появляются все чаще, отражая растущую неудовлетворенность состоянием проблемы во всей

---

[16] Shapiro L. The Prerevolutionary Intelligentsia and the Legal Order. — In: The Russian Intelligentsia/Ed. by R. Pipes. N. Y., 1961, p. 19.

[17] Bowman H. Op. cit., p. 12, 18.

[18] Brower D. The Problem of the Russian Intelligentsia. — Slavic Review, 1967, v. XXXVI, N 4, p. 638—647.

[19] Brower D. Training the Nihilists. Education and Radicalism in Tsarist Russia. London, N. Y., 1975, p. 34, 35.

[20] Ibidem.

[21] Smidt W. Nihilismus und Nihilisten. Untersuchungen zur Typisierung in Russischen Romantik. Zweite Hälfte des Neunzehnten Jahrhunderts. — Forum Slavicum. Münich, 1974, S. 38.

современной буржуазной историографии. Они свидетельствуют в то же время об осознании острой необходимости адекватного осмысления сложных и подчас противоречивых процессов современной истории. Рост политической активности интеллигенции в капиталистическом мире разрушает привычные для буржуазных исследователей представления о коренном своеобразии русской интеллигенции (как и истории России в целом), принуждая их к более глубокому и реалистическому освещению революционного прошлого нашей страны.

Особенно активные поиски ведутся в плане выявления новых «ключевых» критериев, которые бы позволили раскрыть суть самого понятия «интеллигенция». Примечательно, что в поисках новых, более эффективных методов исследования историки все чаще обращаются за помощью к социологии, в чем выражается характерный для современного мира процесс интеграции наук. Не случайно социологи становятся непременными участниками всех специальных выпусков, посвященных проблемам интеллигенции, в которых история русской революционной интеллигенции занимает, как правило, ведущее место [22]. Итогом сотрудничества двух наук явился ряд новых гипотез и концепций относительно природы и своеобразия русской революционной интеллигенции.

При всем многообразии имеющихся в современной английской и американской буржуазной социологии точек зрения отчетливо выделяется стремление раскрыть содержание понятия «интеллигенция» на основе общих, «имманентно присущих» интеллигенции любой другой страны профессиональных черт, свойственных самой природе интеллектуальной творческой деятельности как таковой. Определяющими называются скептицизм, критичность, аналитическое отношение к возникающим

---

[22] См., напр.: On Intellectuals. Theoretical Studies. Case Studies /Ed. by Ph. Rieff. N. Y., 1969. (В 1970 г. вышло второе издание этой книги); Intellectuals and Tradition. — Daedalus, 1972, v. 101, N 2; p. 1—150; Intellectuals and Change. — Daedalus, 1972, v. 101, N 3, p. 131—207. Оба выпуска Дедалуса содержат материалы конференции по проблеме «интеллектуалы и традиция», проведенной в Иерусалиме в марте 1971 г., как часть программы исследования динамики культуры.

проблемам[23]. Эти качества, по мнению исследователей, и обусловливают те «объективные формы отчуждения», которые в той или иной степени присущи интеллигенции всех стран независимо от их социального строя и порождают, соответственно, различные радикальные теории [24].

Согласно их утверждениям, интеллигенция уже по самой своей природе стремится к познанию внутренней сущности традиционных порядков, обычаев и морали и всегда занята поисками универсального, сакрального и абсолютного [25]. Это обстоятельство делает ее не просто социально независимой группой, но выразительницей неких общенациональных надклассовых ценностей и интересов [26]. Некоторые авторы утверждают при этом, что как бы ни складывалась политическая судьба интеллигенции, она всегда остается авторитетной силой. Иногда даже создается парадоксальная ситуация: «В то время как общество становится более независимым по отношению к интеллигенции, ее влияние на него возрастает» [27].

Тезис о том, что профессиональная ориентация интеллигенции на познание внутренней сущности явлений и процессов является ее главным «конституирующим элементом», логически приводит к определению радикальной интеллигенции как «универсальной» категории ми-

---

[23] Lipset S., Dobson R. The Intellectuals as Critic and Rebel. With Special Reference to the United States and the Soviet Union.— Daedalus, 1972, v. 101, N 3, p. 138. Как писал еще в 60-е гг. американский социолог К. Бринтон, «интеллигент, довольный миром и самим собой или по меньшей мере своими идеями и идеалами, просто не был бы интеллигентом» (Brinton C. The Anatomy of Revolution. N. Y., 1965, p. 43).

[24] По словам западногерманского социолога Г. Зиммеля, интеллигент не «чужой», который сегодня пришел, а завтра уйдет, но «чужой», который сегодня пришел и завтра останется, «хотя многие бы предпочли, чтобы он ушел» (Цит. по: Wiehn E. Intellectuelle in Politik und Gesellschaft. Stuttgart, 1971, S. 12—13).

[25] Shills E. The Intellectuals and the Powers: Some Perspective for Comparative Analisis. — In: On Intellectuals, p. 46—47.

[26] Lipset S., Dobson R. Op. cit., p. 149. К этому выводу сводятся в конечном счете все многочисленные элитарные концепции, имеющие место в современной социологии.

[27] Ibid., p. 184.

рового социокультурного развития, своеобразной «контркультуры» или «субкультуры».

Эти термины, вошедшие в научный лексикон Западной Европы еще в 60-е гг. для обозначения мировоззрения и совокупности идеалов и представлений самых разразличных течений современной молодежи [28], с конца названного десятилетия все чаще стали использоваться в исследованиях, посвященных радикальным движениям прошлого, в том числе русской революционной демократии. Д. Броуэр, например, считает «чрезвычайно полезным» оперировать в качестве инструмента научного анализа радикальных групп, существовавших в прошлом, терминологией, употребляемой социологами при рассмотрении современных социальных конфликтов, и предлагает даже совершенно отказаться от термина «интеллигенция» на том основании, что им обычно пользуются те, кто стремится подчеркнуть принципиальное своеобразие революционного движения в России [29].

В свете этих выводов русская революционная интеллигенция утрачивает свою уникальность и обретает черты, свойственные интеллигенции любой другой страны. Американский исследователь Э. Глисон считает, в частности, русское революционно-демократическое движение одним из «типов радикализма», встречающихся как в тайных обществах Европы периода реставрации, так и в деятельности крайних левых групп современной Америки [30].

В трактовке американского социолога А. Гелла, русская революционная интеллигенция (он называет ее «классической») утрачивает свои национальные свойства. Такого рода «классическая интеллигенция» существовала, по его мнению, не только в России, но и в ряде стран восточноевропейского региона (Германия, Польша), а в сходных исторических условиях может появиться также и в

---

[28] Ginger M. Contra-Culture and Subculture. — In: Lampson E. Approaches, Contexts, and Problems of Social Psychology. Englewood Cliffs, N. Y., 1964, p. 468; Berchofer R. A Behavieral Approach to Historical Analisis. N. Y., 1966, p. 83, 91.

[29] Brower D. Training the Nihilists, p. 35.

[30] Gleason A. Young Russia. The Genesis of Russian Radicalism in the 1860-s. N. Y., 1980, p. 383.

других странах мира [31]. Р. Пайпс и авторы труда «Радикализм в современную эпоху» еще более расширяют регион деятельности радикальной интеллигенции, утверждая, что она появляется как в отсталых обществах (главным образом «деспотиях традиционного типа, где отсутствует многочисленная образованная публика»), так и в развитых странах («правильно функционирующих демократиях») [32].

Новый подход является, прежде всего, отражением возрастающей роли интеллигенции в современном обществе, в развитии его материального и культурного потенциала в условиях научно-технической революции. Вместе с тем он, несомненно, представляет собой известный шаг вперед в исследовании буржуазными авторами русского революционно-демократического движения.

И все же, поскольку предложенные исследователями в качестве определяющего критерия черты, свойственные интеллектуальной творческой деятельности, рассматриваются обособленно, вне связи с конкретной исторической ситуацией и классовыми отношениями, действительная социальная природа и место интеллигенции вообще и русской революционной в частности, остаются нераскрытыми. Концептуальные схемы исследователей попрежнему являются абстрактными, лишенными конкретного исторического содержания. Кроме того, и это особенно важно, сформулированные на их основе определения феномена революционной интеллигенции не только не дают достаточно убедительного ответа на события прошлого, но и ставят под сомнение возможность социального мира в настоящем, а тем более в будущем, поскольку социальная отчужденность интеллигенции трактуется авторами как явление универсальное, выводимое из внутренне присущих ей свойств, не зависящих или почти не зависящих от условий и обстоятельств жизни [33].

---

[31] Gella A. The Intelligentsia and Intellectuals, p. 17, 20.

[32] Pipes R. Russia under the Old Regime. N. Y., 1974, p. 253; Radicalism in the Contemporary Age. V. L. Sources of Contemporary Radicalism. N. Y. 1977, p. 23.

[33] «Сейчас, — читаем мы в предисловии к сборнику об интеллигенции, — многие ищут ответа не столько на вопрос о том, что представляет собой интеллектуал, сколько о том, каким станет его отношение к обществу в будущем» (On Intellectuals, p. 3).

Естественно, что предложенные новые определения интеллигенции не удовлетворяют историков полностью и потому не могут быть безоговорочно приняты ими. Так, М. Малиа[34] еще в начале 60-х гг. в своей статье «Что такое интеллигенция?», получившей широкое признание в буржуазной литературе, выражал несогласие с наметившейся уже тогда тенденцией характеризовать интеллигенцию только по признаку интеллектуальной деятельности, мотивируя свою позицию тем, что она (эта деятельность) свойственна интеллигенции вообще и никак не объясняет появление ее радикального слоя[35]. Эти возражения еще более категорично звучат в его позднейших работах[36].

Очевидную неудовлетворенность определением интеллигенции лишь на основе качеств, присущих творческой интеллектуальной деятельности, выражает также американский исследователь Э. Глисон. Отмечая, что хотя термин «интеллигенция» оказался теперь весьма привлекательным для исследователей и интеллигенцию обнаружили почти во всех странах мира, он подчеркивает, что это обстоятельство отнюдь не способствовало выявлению содержания данного термина. Когда в основу определения интеллигенции берется такой широкий критерий, как «профессиональная образованность и связанное с нею мастерство», пишет Глисон, конкретный смысл действительной политической ориентации интеллигенции оказывается «растворенным и вообще утраченным»[37]. Поэтому и вопрос о том, что же представляла собой русская революционная интеллигенция, попрежнему остается «так же широк и туманен, как бесполезен, или даже вообще невозможен»[38].

Нельзя не заметить, что ограниченность новых определений радикальной интеллигенции, основанных лишь на имманентно присущих ей свойствах, с самого нача-

---

[34] Профессор Гарвардского университета, сотрудник Русского исследовательского центра, признанный на Западе специалист в области интеллектуальной истории России.

[35] Malia M. What is Intelligentsia? — In: The Russian Intelligentsia. N. Y., 1961, p. 6.

[36] См., напр.: Malia M. The Intellectuals: Adversary or Clerisy? — Daedalus, 1972, v. 101, N 3, p. 207.

[37] Gleason A. Op. cit., p. 17.

[38] Ibidem.

ла осознавалась и самими их авторами. Подчеркивая особую важность профессиональных качеств в раскрытии социальной природы и политических позиций интеллигенции, Э. Шилз, например, оговаривается, что только одна «внутренняя потребность» в творческом отношении к возникающим проблемам еще «не создает» интеллигенцию и соответственно «не определяет ее роль и место в общественной структуре». Но в каждом обществе существуют некие другие, объективные факторы, обусловливавшие появление деятелей, критически настроенных по отношению к существующему социальному порядку [39].

Считая профессиональные свойства интеллигенции хотя и важными, но все-таки далеко не достаточными для раскрытия действительной природы и роли ее революционных слоев, ряд исследователей призывает дополнить их анализ рассмотрением других «внешних» факторов, побуждающих радикальную интеллигенцию занимать критическую позицию по отношению к данной общественной системе.

Как и следовало ожидать, эти факторы усматриваются не в конкретной исторической объективной реальности, но в неких абстрактных, якобы характерных для всякого общества, независимо от системы его социальных отношений, проблемах, которые-де вызывают у интеллигенции с ее повышенной эмоциональной чувствительностью и возбудимостью особенно острое осознание своего нравственного долга.

Более того, новая трактовка революционной интеллигенции как универсального явления культурного исторического развития настоятельно ставит перед буржуазными учеными задачу затушевать классовый смысл ее социально-политических позиций, растворить его в общих рассуждениях о моральной роли интеллигенции как таковой.

Наиболее распространенным в американском и английском обществоведении является сейчас стремление выделить значение нравственно-этических мотивов в происхождении и деятельности радикальной интеллигенции, в том числе и русской революционно-демократической. В ряду последних работ такая позиция отчетли-

[39] Shils E. Op. cit., p. 28.

во прослеживается в исследовании Э. Глисона. Он считает интеллигенцию универсальным «современным феноменом», имеющим непосредственное отношение к процессу «секуляризации», и характеризует ее представителей как «самых значительных архетипов нашей цивилизации», выполняющих своего рода просветительскую функцию, которая раньше выпадала на долю служителей церкви[40]. Ту же мысль мы встречаем и у Р. Пайпса. Он относит к интеллигенции тех, кто печется не о своем собственном благополучии, но главным образом поглощен заботами о процветании своего общества и «готов в меру своих сил потрудиться на его благо». Поэтому, считает Пайпс, интеллигенция появляется там прежде всего, где существуют значительные расхождения между теми, кто стоит у власти, и теми, кто представляет собой общественное мнение[41].

Созвучной с этими выводами является точка зрения М. Конфино[42], выраженная им в статье, в основу которой было положено его выступление на упомянутой конференции по проблеме «Интеллектуалы и традиция». Он выделяет ряд специфических черт, характеризующих, по его мнению, русскую революционную интеллигенцию. Это — глубокая заинтересованность общественными проблемами; склонность рассматривать их как проблемы, нравственные по своей сути; убежденность, что жизнь не должна быть такой, какова она есть; осознание своей обязанности искать любой ценой крайние логические заключения как в мысли, так и в практической деятельности[43]. Отмеченные свойства выкристаллизовались в особое чувство вины за сложившееся в стране положение. Оно, считает Конфино, и составило главную, определяющую русскую революционную интеллигенцию черту. Пытаясь выявить истоки этих основных характеристик, конституирующих русскую ин-

---

[40] Gleason A. Op. cit., p. 17, 18, 19.

[41] Pipes R. Russia under the Old Regime, p. 252—253.

[42] Известный специалист в области русской общественной мысли, историк и социолог, ныне директор Иерусалимского Центра исследований России и стран Восточной Европы. Продолжает активно сотрудничать в американских изданиях.

[43] Confino M. On Intellectuals and Intellectual Tradition in Eighteenth and Nineteenth-century Russia. — Daedalus, 1972, v. 101, N 2, p. 118.

теллигенцию в единую социальную категорию, М. Конфино выделает ее стремление обрести интеллектуальную независимость, которая является реакцией на попытки правительства надеть на общество «интеллектуальную узду» [44].

Подчеркивание роли абстрактно-гуманистических мотивов в деятельности интеллигенции в конечном счете должно подтвердить традиционный вывод буржуазных историков о том, что радикальное отрицание существующего строя было основано во все времена на идеализированном представлении порядка, который мыслился в будущем, и что, следовательно, оппозиционные настроения интеллигенции по отношению к правящей власти есть не более как следствие ее утопической мечты о несбыточном [45]. Кроме того, это дает возможность расширительно трактовать само понятие «радикальный», включая в него не только деятелей левой, но и правой ориентации. Мы здесь имеем дело с приемом, используемым буржуазными авторами: не просто затушевать действительный классовый смысл политических позиций революционной интеллигенции, но и полностью стереть грань между понятиями «революция» и «контрреволюция».

Таким образом, достаточно явственно обнаружившийся уже в 60-е гг. альянс истории и социологии свидетельствует о тех напряженных поисках, которые ведутся сейчас в буржуазном обществоведении с целью дать более приближенное к исторической реальности определение русской революционной интеллигенции и раскрыть существенное содержание революционно-демократической мысли.

Будучи следствием и проявлением не только растущего влияния социологии в современном буржуазном обществоведении, но и углубляющегося кризиса исторической науки, обращение историков к выводам и методам социологов отражает вместе с тем и тягу исследователей к междисциплинарному подходу. Являясь выражением объективных процессов, имеющих место в современной науке вообще, в буржуазной исторической науке этот подход есть вместе с тем следствие неприятия исторического материализма как метода научного

[44] Ibid., p. 118, 124.
[45] Radicalism in the Contemporary Age, v. 1, p. 13.

анализа и отражает стремление исследователей перейти в объяснении исторических процессов и событий «от монокаузальности к плюрализму»[46]. Как мы убедились на конкретном материале исследования феномена революционной интеллигенции, это нашло свое выражение в последовательном отказе от классового принципа и поисках других подходов, не имеющих связи с действительной объективной основой истории — классовыми отношениями, определяемыми в конечном счете характером собственности.

И все же, как было отмечено, в рассмотренных концепциях звучит новый мотив — отказ от традиционного изображения русской революционной интеллигенции в качестве уникальной социальной группы, появившейся лишь в специфических национальных условиях России, и признание ее универсальной исторической категорией. Эти новации являются результатом неизбежного переосмысления старых субъективистских концепций и выводов, плохо соотносящихся с происходящими в реальном мире процессами и событиями и потому быстро утрачивающих даже для буржуазных историков свою весьма относительную научную ценность.

Сказанное, однако, не означает полного пересмотра английскими и американскими авторами старых теорий. Признав историческую закономерность появления революционной интеллигенции в других странах мира, они тем не менее не отказываются от своего прежнего вывода, являющегося повторением старого положения русской дореволюционной историографии, давно опровергнутого советскими историками, о коренном своеобразии русской интеллигенции, заключавшемся в ее надклассовой природе.

Убедительным образом это подтверждается на примере анализа буржуазными авторами причин и условий появления русской революционно-демократической интеллигенции.

---

[46] Подробнее об этом процессе в современном буржуазном обществоведении см.: Berlinger R. Historical Analisis: Contemporary Approach to Clio's Craft. N. Y., 1978, p. IX.

2. Причины и условия формирования русской революционно-демократической интеллигенции

В своих попытках объяснить генезис русской революционной интеллигенции в России рассматриваемые авторы исходят из ставшего уже традиционным в буржуазной историографии положения о надклассовом характере русской интеллигенции. Признавая, что определенная изолированность интеллигенции от других слоев общества существовала во всех странах и во все времена, они стремятся доказать особую остроту и болезненную ощутимость ее в России.

Согласно давно утвердившимся и продолжающим доминировать в буржуазной историографии концепциям вовлечение России в процесс экономического и культурного развития происходило, в отличие от стран Запада, не в результате естественного хода событий, а искусственно, по воле правителей, желавших скорее увидеть свою страну в числе передовых и влиятельных держав мира, но при этом отнюдь не стремившихся содействовать просвещению своего народа [47]. Результатом подобного хода событий явилось рождение интеллигенции как обособленной социальной категории, полностью изолированной и от правительства, и от всех других слоев общества. Ее происхождение обычно никак не связывается буржуазными историками с экономическими и социальными процессами, имевшими место в стране в рассматриваемый период.

Характерными в этом плане представляются рассуждения М. Малиа. Он решительно возражает против марксистского определения интеллигенции как общественной прослойки, формировавшейся по мере развития капитализма и призванной выполнять различные общественные функции, связанные с интеллектуальным трудом. Неправомерным и бездоказательным кажется ему ленинское определение пореформенной интеллигенции как буржуазной и мелкобуржуазной, поскольку эпитет «буржуазный» противоречит-де той роли, которую ленинизм отводит интеллигенции в качестве пред-

[47] Одним из первых в западной историографии эта мысль была высказана английским историком Г. Сетон-Уотсоном (см.: Seton-Wotson H. The Russian Empire, 1801—1917, p. 226—227).

ставительницы интересов пролетариата. Что же касается определения «мелкобуржуазный» в приложении к интеллигенции, то оно, по мнению Малиа, не соотносится с ролью интеллигенции в борьбе против феодальной аристократии, поскольку, согласно марксистской теории, мелкая буржуазия не может стоять в авангарде этой борьбы [48].

Аналогичным образом интерпретирует позиции советских историков А. Мак-Коннелл. Отмечая их якобы традиционно «снисходительное» или даже «безразличное» отношение к дореволюционной интеллигенции своей страны, он утверждает, что своеобразное исключение в этом отношении представлял В. И. Ленин, который трактовал интеллигенцию в зависимости от политической необходимости то как группу, способную стать идейным вождем пролетариата, то как прислужников капитализма [49].

Здесь мы встречаемся с типичным образчиком непонимания (возможно, намеренного) научного, классового анализа общественных явлений. В данном конкретном случае — марксистского определения классовой природы демократических слоев интеллигенции как социальной группы, возникающей в период становления буржуазного общества и по мере его развития выражающей наиболее полно и последовательно интересы самых передовых для своего времени классов: сначала крестьянства (мелкая буржуазия), затем пролетариата.

Отказавшись от социально-классового анализа в объяснении происхождения радикальной интеллигенции, буржуазные историки закономерно обращаются к поискам причин ее появления вне сферы классовых отношений. При этом чаще всего они пытаются отыскать их в эмоциональной и интеллектуальной сфере. Известный американский исследователь, специалист в области русской общественной мысли Ф. Помпер считает, например, что истоки интеллигенции следует видеть в чем-то более всеобъемлющем, чем социальная среда, а именно в «происхождении сознания», точнее, в самом «импульсе к идеальному» как своеобразной реакции на общественно-культурные запросы своей страны [50].

---

[48] Malia M. What is Intelligentsia?, p. 6.
[49] Mc Connell A. Op. cit., p. 1.
[50] Pomper Ph. The Russian Revolutionary Intelligentsia. N. Y., 1970, p. 9.

Это замечание Помпера имеет, по сути, методологический характер. Появление интеллигенции и ее радикального слоя обычно характеризуется буржуазными учеными как следствие лишь культурных перемен в обществе, независимо от характера и уровня его социально-экономического развития и интересов какого-либо класса вообще. Справедливо подчеркивая, что радикальный слой вышедшей из дворян интеллигенции порывает с породившим его классом, не становясь выразителем его поместных интересов, более того, что в нем проявляется самосознание группы, стоящей вне дворянства и связанной воедино опытом, выходящим за рамки дворянского воспитания [51], рассматриваемые авторы оказываются не в состоянии объяснить этот разрыв. Они усматривают в нем лишь доказательство несостоятельности метода классового анализа, применяемого советскими историками, решительно заявляя, что попытки западных авторов использовать в изучении взглядов и деятельности русской революционной интеллигенции социальную психологию более плодотворны [52]. Примечательно, что в современной буржуазной литературе время от времени раздаются призывы изъять из научного обихода сам термин «класс» на том основании, что вследствие присущей ему «неопределенности» он не может быть общеприменимым, и потому далеко не все социологи пользуются им для обозначения социальной реальности [53].

В историографической практике обращение буржуазных ученых к исследованию психологии интеллигенции вылилось в гиперболизацию чувства «отщепенства» и исключительности интеллигенции, в чем усматриваются главная причина и «импульс», обусловившие ее участие в революционной борьбе. Именно в отчужденности от общества и государства, а отнюдь не в остроте социальных противоречий и конфликтов они видят истоки революционного движения, которое по этой причине и завершилось «национальной трагедией», приве-

---

[51] См., напр.: Pomper Ph. Op. cit., p. 6.
[52] Ibidem.
[53] Class, Status, and Power/Ed. by R. Bendix, S. Lipset. N. Y., 1966, p. XVI, 201.

дя страну к революции[54]. Типичным в этом плане является утверждение Г. Баумана, что история русской интеллигенции «есть история возрастания ее изоляции»[55].

Этот тезис находил и находит много последователей. Широко пропагандируемый буржуазными учеными, он с самого начала должен был сыграть вполне определенную роль: представить революционную интеллигенцию выразительницей лишь своих собственных групповых или неверно понятых ею общенациональных интересов и тем самым обосновать тезис о якобы антидемократическом и даже антисоциальном характере русского революционного движения. Ф. Степун полагает, например, что социальная неоднородность интеллигенции является вполне убедительным доказательством того, что она не представляла «специфических» интересов какого-либо класса, но выражала некие абстрактные, лишенные реальной социальной почвы идеалы[56].

В буржуазной историографии давно сложилась и упрочилась четкая концептуальная схема, объясняющая причины и своеобразие формирования русской революционной интеллигенции. Путь, пройденный русской интеллигенцией, интерпретируется как от начала до конца специфический, обусловленный особенностями исторического развития России и совершенно отличный от пути, пройденного интеллигенцией Запада. С первых же шагов своего существования она изображается как социально изолированная группа — обстоятельство, которое, по мнению исследователей, определило весь строй мышления интеллигенции, ее нравственные и политические идеалы.

Среди распространенных в буржуазной историографии концепций особенно широкой поддержкой всегда пользовалась одна из них, согласно которой происхождение интеллигенции связано непосредственно с процессом «вестернизации» страны, приобщения ее к более

---

[54] См.: Daniels R. Red October. The Bolshevic Revolution of 1917. N. Y., 1967, p. 8.

[55] Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia, p. 6.

[56] Stepun F. The Russian Intelligentsia and Bolshevism. — The Russian Review, 1958, v. 17, N 4, p. 268.

развитой цивилизации Запада[57]. Начало процесса формирования интеллигенции относилось при этом ко времени реформ Петра I [58].

В основе этой концепции лежит тезис о том, что русская интеллигенция как исторический феномен и социальная категория являлась не следствием органического процесса развития страны, как это было на Западе, но «побочным продуктом» ее «вестернизации», проводимой правительством, иногда даже насильственными мерами. Поэтому интеллигенция возникает с самого начала в качестве социального слоя, не связанного какими-либо материальными стимулами и интересами ни с одним классом страны [59]. Американская исследовательница В. Билл пытается, например, обосновать этот вывод, обращаясь к рассмотрению социально-экономического развития России в отдаленном прошлом и руководствуясь в своих изысканиях общепринятым в буржуазной историографии тезисом об изначальной отсталости русского государства. В России, пишет она, где средневековые города возникали позже и не являлись центрами сосредоточения промышленности и коммерции, буржуазия и интеллигенция шли разными путями, в отличие от Европы, в которой имели место гармонический рост и взаимная стимуляция этих двух тесно связанных между собою групп [60].

В общих чертах суть этой концепции формирования русской интеллигенции заключается в следующем. Когда русское самодержавие «втягивало» упирающуюся московскую знать в модернизированный европейский мир, оно и отдаленно не могло предвидеть, сколь пагубную

---

[57] См., напр.: Wolkin L. The Rise of Demokracy in Pre-Revolutionary Russia. N. Y., 1962, p. 101; Baron S. Plekhanov. Stanford, 1963, p. 3—4; Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. N. Y., 1957, p. 7; Pomper Ph. The Russian Revolutionary Intelligentsia, p. 9; Seton-Watson H. Op. cit., p. 226.

[58] Некоторые авторы датировали появление интеллигенции еще более ранним временем: концом XVII в. (см.: Weeks A. The First Bolshevic. A Political Biography of Peter Tkachev, p. 13) или даже XVII—XVI вв. (см.: Bill V. The Forgotten Class. N. Y., 1959, p. 73, 203—204).

[59] Confino M. On Intellectuals and Intellectual Tradition in Eighteenth and Nineteenth-century Russia, p. 117.

[60] Bill V. Op. cit., p. 203—204.

дорогу открывало тем самым для части ее особо наблюдательных представителей, приобщая их к образованию и культуре Запада, знакомя с формами его политического устройства и образом мыслей. Эти знания и практиковавшиеся Петром I методы внедрения европейского образования и быта и пробудили, по мнению исследователей, неожиданно вспыхнувший интерес образованного слоя русского общества к своему собственному национальному образу жизни. Они помогли не только отчетливо увидеть отсталость России во всех ее проявлениях, но и заметить в русском народе ряд позитивных черт. И хотя эти увиденные черты представляли собою не столько отражение реальности, сколько проекцию собственных желаний и интересов «вестернизированной» части русского общества [61], они тем не менее способствовали появлению веры в творческие способности своей нации, рождали надежды (проявление свого рода «высокомерия отсталости») на то, что русские способны выработать свои собственные культурные и духовные ценности. С указанного времени, как полагают буржуазные исследователи, в России и начинается процесс складывания национального самосознания, социальным выражением которого явилось формирование особой группы — интеллигенции [62].

Таким образом, согласно утверждениям рассматриваемых авторов, русская интеллигенция, являясь продуктом «вестернизации» страны, с самого появления не только была наиболее образованным слоем своего общества (следствие приобщения к европейской культуре), но и несла в себе критический заряд по отношению к собственным национальным формам жизни, к традиционным социальным ценностям и институтам. Именно «увлечение» интеллигенции «западным стилем образования», утверждает, в частности, Дж. Кип, «открыло ей глаза» на недостатки внутреннего устройства России и пробудило в ней естественную склонность к радикализму [63].

---

[61] Shapiro L. The Pre-revolutionary Intelligentsia and the Legal Order, p. 19—20.

[62] См.: Rogger H. National Consciousness in Eighteenth-century Russia. Cambridge, 1960, p. 5, 276; Keep J. Op. cit., p. 11.

[63] Keep I. Op cit., p. 11.

Эти изначально присущие интеллигенции свойства (образованность и критический настрой) и поставили ее, по мнению рассматриваемых исследователей, в весьма своеобразное положение в общественной структуре России, отдалив и от верхов (правительства и дворянства), и от низов (широких народных масс). В дальнейшем, считают они, по мере углубления «вестернизации» страны, социальное отчуждение интеллигенции еще более возрастало. Оба процесса развивались в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Интеллигенция все сильнее отдалялась от господствующего класса страны — дворянства, с которым ее связывала лишь тонкая ненадежная нить — привилегия образованности, постепенно утрачиваемая дворянством с пополнением рядов интеллигенции разночинцами. В то же время социальное происхождение большей части интеллигенции, ее образованность и жизненный стиль отдаляли ее и от простого народа, от самых «корней» русской жизни [64].

Социальная изоляция и была тем важнейшим фактором, который, как считают английские и американские историки, определил всю дальнейшую судьбу русской интеллигенции, обусловив ее специфические характеристики. Породив всепоглощающее чувство отчужденности, эта изоляция придала интеллигенции «особую, уникальную индивидуальность», ее непохожесть на интеллигенцию Запада, проявлявшуюся в радикализме. Не найдя себе места в собственном обществе, она неизбежно должна была стремиться к революционному изменению общественно-политической системы своей страны, чтобы вписаться в ее социальную структуру. При этом ничто не сдерживало и не могло сдерживать революционных устремлений интеллигенции, поскольку никакие материальные интересы не связывали ее с существовавшим строем.

Своеобразие русской интеллигенции, с самого начала проявившееся, согласно утверждениям буржуазных исследователей, в ее склонности к радикализму, значительно возрастало и укреплялось на протяжении XIX в., ибо в это время особенно интенсивно подули «чужие

---

[64] Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-centrury Russia, p. 10.

ветры» западных доктрин, еще более расширив и обострив чувство ее социальной изоляции [65].

Таким образом, рассмотренная концептуальная схема, окончательно сложившаяся и получившая особое распространение и популярность в буржуазном обществоведении в 50—60-е гг., ставила происхождение русской революционной интеллигенции в непосредственную зависимость от «европеизации» России — процесса, к которому авторы сводили весь ход поступательного развития страны.

Обращение буржуазных исследователей к теории «вестернизации» России в целях объяснения генезиса русской революционной интеллигенции не является случайным. Эта теория обладала, несомненно, большой привлекательностью, вполне согласуясь с их методологическими принципами и идеологическими задачами. Сведение исторического развития России к процессу ее «европеизации» давало возможность авторам трактовать его как чисто эволюционный процесс культурных сдвигов без решающих социальных и экономических перемен. Кроме того, и это главное, провозглашая зависимость русской радикальной интеллигенции от западноевропейской культуры, теория «вестернизации» была призвана доказать не только заведомо ложный тезис об «отчужденности» интеллигенции от своей национальной исторической почвы, но и столь же неверное положение о ее неспособности к творческому рациональному решению собственных социальных проблем, чтобы таким образом в очередной раз попытаться обосновать мысль об ошибочности избранного ею революционного пути социального действия.

Вместе с тем сторонники такого подхода, рассматривая радикальную интеллигенцию как «вестернизованный» слой русского общества, с самого начала столкнулись с серьезными трудностями. Положение о прямой зависимости русской революционной интеллигенции от культурного развития (в том числе общественной мысли) Запада логически приводило к отрицанию национального своеобразия интеллектуальной основы русского революционного движения. Принимая во внимание,

[65] Haimson L. The Russian Marxism and the Origin of Bolshevism, p. 7, 8.

что исходным положением для них являлся тезис об исключительно интеллигентском характере революционной борьбы в стране, этот вывод не только не отвечал задачам антикоммунистических доктрин, стремящихся доказать национальную исключительность большевизма, рожденного якобы лишь национальными идейными традициями революционного движения в России предшествовавших этапов, но и прямо противоречил им.

Стремясь выйти из этого логического тупика, ряд исследователей пытаются внести в рассмотренную здесь трактовку генезиса русской интеллигенции определенные коррективы и дополнения. В результате оформляется течение, представители которого, рассматривая появление интеллигенции как следствие «конфликта» между «западными философскими, политическими и социальными идеалами и русской действительностью» [66], особо подчеркивают роль «внутренних» национальных условий. Однако, как увидим далее, новый подход вовсе не означает обращения к исследованию причин, действительно играющих определяющую роль в происхождении и национальном своеобразии интеллигенции. С точки зрения его сторонников, той главной подосновой, которая объясняет все процессы и явления русской истории, является отнюдь не характер и уровень общественного производства и соответствующие ему классовые отношения и конфликты, но специфика формы политической власти и обусловленная ею наличная социальная структура, отличавшаяся «упрощенностью»— дезинтеграцией составляющих ее слоев и групп. С этих позиций приверженцы ориентации на исследование «внутренних факторов» и рассматривали формирование и деятельность русской интеллигенции, в том числе ее революционно-демократических слоев.

Основополагающим в их построениях является тезис о том, что весь ход русской истории определялся свойственным только России разделением государства и общества [67]. Разрыв между правительством и всеми ос-

---

[66] Essays on Russian Intellectual History/Ed. by J. Fuhrman, E. Bock, L. Twarog. Austin and London, 1971, p. 14.

[67] Fainsod M. How Russia is Rulled, p. 5; Pipes R. From the Other Shore. — Encounter, 1963, N 2, p. 1; Szamuely Th. Op. cit., p. 13, 60—61.

тальными классами общества, характерный для западных стран, нигде, по их мнению, не был так глубок и значителен, как здесь. Поэтому ни в какой другой стране он не оказал столь сильного давящего влияния на образованный слой общества и, соответственно, на общественную мысль, как в России [68]. Согласно их утверждению, самодержавие, приняв на себя необычайно активную роль в руководстве национальной жизнью, подчиняло себе все классы до такой степени, что критерием их социального статуса становились не права, а только обязанности. Права же существовали лишь постольку, поскольку правительство считало их полезными и рассматривало в качестве инструмента своего господства [69].

В условиях гипертрофии роли государства, когда оно выступало не только главной руководящей силой, но и «монополистом» всей «политической мудрости» и когда слово «правительство» привычно заменялось словом «власть», интеллигенция-де не находила позитивного применения своим интеллектуальным потенциям и в результате неизбежно оказывалась в оппозиции по отношению к существовавшей социально-политической системе [70]. Поскольку же все легализованные сословия конституировались самой государственной властью и потому общество было совершенно пассивным, позволяя правительству безраздельно «держать себя в шорах», она оставалась единственной в стране революционной силой. Пайпс утверждает, например, что благодаря длительности и прочности «государственной традиции» борьба за политические и гражданские свободы не была в России следствием каких-либо «социальных или экономических интересов», но велась исключительно лишь «с позиций образования и культуры» [71].

Отталкиваясь от этих положений, исследователи приходят к выводу, что интеллигенция формируется в России как национально своеобразная социальная группа

---

[68] Anderson Th. Russian Political Thought. N. Y., 1967, p. 361.

[69] Pipes R. From the Other Shore, p. 1.

[70] Charqes R. The Twilight of Imperial Russia. London, 1952, p. 19.

[71] Pipes R. From the Other Shore, p. 2.

в 30—50-е гг. XIX в., когда российская самодержавная монархия достигает во время правления Николая I своего апогея. В этой ситуации становится особенно сильным разрыв между желанием личности быть чем-то значимым и тем, чем государство позволяло ей стать. Формирование интеллигенции было довершено университетами, превратившими ее, по словам Малиа, «из идеалистов в обычном смысле слова в идеалистов в метафизическом смысле»[72]. В результате же интеллигенция формируется как полностью отчужденная от своей страны сила. «Именно Николай I,— читаем мы у Э. Карра,— изгонявший все формы политической, социальной и философской мысли, толкнул ее интеллектуальное движение в революцию»[73].

Итак, в рассмотренном направлении, как и в предшествующем, упор в объяснении революционных позиций интеллигенции делается на ее социальной и политической отчужденности. Отличие состоит лишь в том, что главная причина отчуждения усматривается не во влиянии западной культуры и «стиля образования» (они создавали только фон, предпосылку), а в специфике формы и политики господствовавшей власти.

Своеобразным развитием этого положения явилась теория «пространственного (географического) дуализма» в общественном движении России. Впервые выдвинувший ее Р. Такер утверждал, что революционеры в своей подавляющей части вышли из далеких провинций и лишь недолго жили в столичных городах, оказавшись затем в тюрьмах, ссылке или эмиграции. Отдаленность от политических центров заставляла их острее чувствовать разницу между «мы» (общество) и «они» (правительство), сильнее осознавать себя в качестве объекта власти[74]. Обосновывая и дополняя эту теорию, другой американский историк, Т. Гросс, писал чуть позже, что либералы в отличие от революционеров происходили, как правило, из столицы. Они были несравненно лучше знакомы с техникой правительственной администрации и ее аппаратом. Близость к власти (дея-

---

[72] Malia M. What is Intelligentsia?, p. 9.
[73] Carr E. Studies in Revolution. N. Y., 1964, p. 89.
[74] Tucker R. The Imadge of Dual Russia. — In: The Transformation of Russian Society/Ed. by C. Black. Cambridge, 1962, p. 586.

тельность в земствах и даже прямое сотрудничество с министрами) создавала у них совершенно иное к ней отношение — отношение доверия и поддержки ее основных начинаний [75].

Таким образом, главное содержание рассмотренных нами концепций (не исключая и те, авторы которых склонны отводить решающую роль в генезисе революционной интеллигенции влиянию Запада) состоит в том, что гнет автократии извратил общественно-политическую жизнь интеллигенции, превратив ее в полностью отчужденную и потому враждебную обществу в целом силу. В сложившейся ситуации ее интересы и внимание оказались ориентированными не на нужды народа (они были совершенно чужды ей) и, следовательно, не на общенациональные дела, а только на свои узкогрупповые интересы, смысл которых сводился исключительно к борьбе с существовавшей политической системой. «В любом случае,— пишет английский исследователь Б. Пейерс, как бы резюмируя все эти рассуждения, — именно деспотизм породил революцию. Революция и деспотизм — близнецы» [76].

Такой подход к исследованию причин формирования революционной интеллигенции, приводящий к выводу о ее полной изоляции от страны и народа и, следовательно, от их насущных социальных и политических проблем, вызывает сомнение в его научной значимости даже у самих буржуазных ученых. Еще в конце 60-х гг. Д. Броуэр в статье «Проблемы русской интеллигенции» отмечал, что американская историография революционного движения в России страдает теми же пороками, какие были присущи и русским либерально-буржуазным историкам, а именно «явным недостатком объективности» и вообще «отсутствием какой-либо реальной научной методологии» [77].

Его не устраивает изображение революционной интеллигенции только как носительницы своих собствен-

---

[75] Gross T. Geography and Arbitrariness Factors in Russian Revolutionarism. — Slavic Review, 1965, v. XXIV, N 4, p. 707—708.

[76] Pares B. Russia between Reform and Revolution. N. Y., 1962, p. 184.

[77] Brover D. The Problem of Russian Intelligentsia, p. 440.

ных узкогрупповых интересов или выразительницы некоей абстрактной идеи служения народу, поскольку это приводит, по его мнению, к одностороннему вычленению идеала этического[78]. Он полагает, что действительно научный подход требует социального анализа и высказывает сожаление, что «никто из исследователей» еще не пытался выяснить, «каковым в действительности могло быть влияние социальной почвы» на происхождение русской радикальной интеллигенции и, соответственно, каковы ее основные характеристики[79].

Однако из дальнейших рассуждений Д. Броуэра видно, что, обращаясь к так называемому «социальному анализу», он отнюдь не отказывается от традиционной для буржуазной историографии методологической схемы. Видя в появлении интеллигенции результат структурных изменений внутри дворянства, Броуэр приходит в конечном счете к тому же утверждению, которое считает явно недостаточным для объяснения причин появления революционной интеллигенции,— утверждению о решающем воздействии на интеллигенцию психологии отчужденности. Отличие его взглядов от рассуждений критикуемых им авторов состоит лишь в том, что он именует это чувство настроениями «опасения» и «обиды» групп, утративших свою былую экономическую силу и престиж. Эти настроения и питали, по его мнению, оппозиционные по отношению к власти движения, порождая «радикальный», равно как и «консервативный» экстремизм[80].

Близок к Броуэру в своих рассуждениях и японский исследователь, профессор университета Киото К. Кацудо, также призывающий к «социальному анализу». Он считает, что поколение «отцов» (деятелей 30—40-х гг.) страдало прежде всего от чувства «духовной изоляции».

---

[78] Ibidem.

[79] Brower D. Fathers, Sons, and Grandsons. Social Origin of Radical Intellectuals in Nineteenth-century Russia. — Journal of Social History, 1969, v. 2, N 4, p. 334.

[80] Ibidem; см. также: Smelser N. and Lipset S. Social Structure, and Mobility, and Development. — In: Social Structure and Mobility in Economic Development. Chicago, 1966, p. 45—48.

Подобное же «несчастье» «детей» (деятелей 60—70-х гг.) было обострено еще и «материальной нуждой»[81].

Таким образом, попытка объяснить рождение революционной интеллигенции путем обращения к анализу «социальной динамики» приводит исследователей к заключению, от которого они стремились отмежеваться — заключению о необходимости рассматривать интеллигенцию как некую социально изолированную группу, утратившую чувство психологического равновесия. Только теперь острота этого чувства связывается непосредственно с ощущением утраты материальной силы и благополучия.

Такая же участь постигает и других авторов, пытающихся выйти в некоторых частных наблюдениях и выводах за рамки доминирующих тенденций в оценке причин появления революционной интеллигенции. Так, английский исследователь Э. Лемперт пишет, например, о значительных качественных сдвигах в истории русской пореформенной интеллигенции в сравнении с предшествовавшим временем: об изменении ее социального статуса. Он правильно отмечает, что революционеры этой эпохи были людьми нового типа, более радикального стиля жизни, в котором интеллектуальная деятельность не являлась чем-то обособленным от их общественной роли, но, напротив, была подчинена ей. Тем не менее в своих рассуждениях Лемперт не выходит за пределы общепринятых в буржуазной историографии концепций о социальной отчужденности интеллигенции. Отмечая, что ее радикальный слой был занят почти исключительно актуальными общественными проблемами, он считает это парадоксальным, поскольку интеллигенция являла собою, по его мнению, социальную группу, стоящую вне общества[82].

Рассмотренные попытки «социального анализа» убеждают, что они также весьма далеки от действительно

---

[81] Katsudo K. An Analisis of the Modernisation of Russia. A Study of Revolution and the Intelligentsia from the Viepoint of Comparative History. — Review, 1971, N 29, p. 73—74. (статья представляет главу из работы Кацудо «Революция и интеллигенция», вышедшей в 1967 г. на японском языке).

[82] Lampert E. Sons against Fathers: Studies in Russian Radicalism and Revolution. Oxford. 1965. p. 86—87.

научного классового подхода к освещению проблемы генезиса революционной интеллигенции. Метод социального анализа буржуазные авторы понимают (это особенно отчетливо видно на примере рассуждений Д. Броуэра) как жесткую однолинейную зависимость идеологических позиций мыслителя от класса, которому он обязан своим происхождением. Именно поэтому они не могут осмыслить ту глубокую и прочную связь, которая существовала между революционной интеллигенцией и крестьянством, самым страдающим и единственно революционным классом России в эпоху формирования и активной деятельности революционеров-демократов, и поэтому оказываются не в состоянии понять действительную социальную природу революционной интеллигенции.

Мы не найдем в работах рассматриваемых авторов положений о кризисе феодально-крепостнических отношений и становлении капиталистических форм производства, о подъеме массового народного движения (накануне и в ответ на реформу) как социальном следствии и выражении имевших место в стране экономических процессов. В тех редких случаях, когда буржуазные историки говорят (ссылаясь на работы В. И. Ленина и исследования советских авторов) о значении крестьянского вопроса как «центрального» в истории России XIX в. [83], они тем не менее не могут понять той действительной основы, которая определяла ориентацию революционной демократии на крестьянство.

Неспособность осмыслить историческое развитие как процесс ломки устаревших форм собственности и соответствующих ему классовых перемен приводит их к неверному пониманию сути крестьянского вопроса и ошибочной трактовке отношения к нему революционеров-демократов, связанной также с их основными посылками в объяснении социального места интеллигенции вообще. По их мнению, отчужденная от народа и страны в целом интеллигенция в лучшем случае могла лишь «сочувствовать» крестьянам, не будучи способной вникнуть в их действительные нужды и потребности,

---

[83] См., напр.: The Peasant in Nineteeth-century Russia. Stanford, 1968.

доказательством чего и являлись ее социалистические теории, целиком заимствованные на Западе и ни в какой мере не выражавшие реальные социально-политические устремления крестьян [84].

В данном случае верный тезис о непонимании революционерами подлинного смысла и классового характера крестьянских требований используется буржуазными авторами в целях обоснования совершенно ложного вывода о будто бы полном отрыве их от общественных потребностей и задач исторического развития своей страны. В действительности же выдвигавшиеся революционерами-демократами (начиная с Герцена) лозунги социалистического переустройства отнюдь не опровергали, но подтверждали непосредственную связь общественных позиций деятелей революционного движения с интересами и чаяниями крестьянства, поскольку отстаиваемая ими ошибочная идея социализма в действительности наиболее адекватно выражала крестьянское требование «черного передела», за которым фактически крылось требование национализации земли — самая радикальная буржуазно-демократическая мера, единственно способная обеспечить свободный и быстрый путь аграрной капиталистической эволюции России в условиях ее пореформенного развития.

Таким образом, и те авторы, которые пытаются обратиться к анализу социального фактора, чтобы решить проблему генезиса русской революционной интеллигенции, оказываются не в состоянии преодолеть давно сложившиеся в буржуазной исторической науке и ставшие господствующими методологические схемы и связать общественное движение с реально имевшими место в стране социальными и экономическими процессами. Поэтому обстоятельством, немало смущающим буржуазных историков и даже вызвавшим среди них своеобразную дискуссию, явился вопрос о том, почему расцвет деятельности революционной интеллигенции (начала ее «постоянной конспирации», окончательного оформления «определенной доктрины» и складывания «боевой организации») [85]

---

[84] См.: Vucinich S. Introduction. — In: The Peasant in Nineteenth-century Russia, p. XIV—XV.

[85] Daniels R. Russia. Englewood Cliffs, 1964, p. 39.

пришелся на 60—70-е гг.— период особенно интенсивной преобразовательной деятельности правительства, когда в результате проводимых им реформ страна, по словам М. Карповича, значительно продвинулась вперед к «желанному гражданскому равенству» [86].

Однако этот «парадокс» довольно просто преодолевается буржуазными авторами в рамках их общей концепции формирования интеллигенции. Большинство их решительно отвергают как несостоятельные попытки объяснить активизацию революционной борьбы разочарованием в крестьянской реформе и выдвигают в качестве главной причины революционного подъема нетерпение, вызванное среди интеллигенции самим фактом реформ. Распространенной стала точка зрения, изложенная еще в 30-е гг. М. Карповичем, который первым пытался объяснить это противоречие. По его мнению, утратившая чувство реальности интеллигенция оказалась неспособной понять целесообразность постепенных преобразований и, руководствуясь соображениями ложно понятого долга, не желала ждать [87]. Развивая эту мысль, Т. Самуэли писал позже, что интеллигенция возлагала слишком много надежд на реформы, чтобы они могли вызвать у нее какое-либо иное чувство, кроме чувства разочарования [88].

Существует и другое объяснение, высказанное признанным на Западе специалистом в области исследования экономической истории России американским ученым А. Гершенкроном. Оно особенно убедительно свидетельствует о несостоятельности попыток буржуазных авторов осмыслить социальную природу радикальной интеллигенции, а следовательно, и причины ее появле-

---

[86] Karpovich M. Imperial Russia. 1801—1917. N. Y., 1932, p. 47.

[87] Ibid., p. 43—44. М. Карпович — белоэмигрант, бывший кадет, затем эсер, с 1927 по 1957 гг. профессор Гарвардского университета, где им была создана своя школа в исследовании истории России. Был членом редакционного совета журнала «The Russian Review» и почетным редактором другого американского журнала «The American Slavic and East European Review». С 1941 г. и до своей смерти (1959 г.) редактировал ведущий орган белоэмигрантов «Новый журнал» (Подробнее о нем см.: Панкратова М. Г. Об одном «объективном» историке. — Вопросы истории, 1960, № 10, с. 197—198).

[88] Szamuely Th. Op. cit., p. 228.

ния. Суть его рассуждений сводится к обоснованию тезиса о полной неспособности интеллигенции понять возникавшие в стране реальные проблемы и поэтому оказавшейся не в состоянии принять осуществлявшиеся правительством преобразования [89].

Этот вывод Гершенкрон пытается обосновать на примере отношения революционных демократов к крестьянской реформе, усматривая в ее неприятии наиболее яркое, хотя и далеко не единственное свидетельство того, что радикальная интеллигенция вообще не могла осознать прогрессивного значения реформ, так как была неспособна понять задачи и возможные пути дальнейшего развития страны. Поэтому, считает он, 1861 г. и явился своего рода разделительным барьером, когда особенно быстро увеличивается разрыв между теориями революционеров и реальностью, между интеллектуальным и экономическим развитием страны — обстоятельство, приведшее, по его мнению, к резкому подъему революционного движения [90].

Развивая точку зрения Гершенкрона, Л. Шапиро утверждает, что объяснение активизации деятельности революционной интеллигенции в 60—70-е гг. следует искать в «сфере психологии». Интеллигенция, по его мнению, была слишком отчуждена от существовавшего порядка, чтобы даже с поправками принять проводимые властями реформы, ибо это означало бы для нее в конечном счете «идти вместе с самодержавием». В создавшейся ситуации «единственная альтернатива» заключалась в том, чтобы совершенно уничтожить его. Поэтому-то, продолжает он, 1861 г. и стал «новым водоразделом в политическом мышлении России XIX века» [91].

Рассмотренные здесь концепции достаточно убедительно свидетельствуют, что общим методологическим пороком исследований буржуазных ученых является иг-

---

[89] Gerschenkron A. The Problem of Economic Development in Russian Intellectual History of the Nineteenth-century. — In: Continuity and Change in Russian and Soviet Thought. Cambridge, 1957, p. 37.

[90] Ibidem.

[91] Shapiro L. Rationalism and Nationalism in Russian Nineteenth-century Political Thought. New Haven and London, 1967, p. 98.

норирование связи политической борьбы с задачами социально-экономического развития страны. Авторы ограничивают революционные цели демократической интеллигенции в лучшем случае лишь сферой политических или правовых отношений, не касаясь коренных социально-классовых проблем. К этому приводят и попытки обращения к социальному анализу. Такой подход к трактовке революционно-демократического движения вытекает из своеобразного понимания исторического развития как постепенного эволюционного процесса количественных изменений, когда «теряется грань» между революционным скачком, знаменующим глубокие социальные и экономические преобразования, и «политическими переворотами, не вносящими никаких радикальных перемен в общественную жизнь» [92].

В генетической основе рассмотренных концепций лежит эклектический сплав идей русской дореволюционной буржуазной историографии, среди которых явно доминирует веховское направление. Мы встречаемся здесь с рядом методологических положений, развитых П. Н. Милюковым. Это прежде всего тезис о детерминированности всего процесса исторического развития России государственным началом, а также сведение исторических закономерностей к «закономерностям психологическим» [93]. В конкретных же выводах и наблюдениях прослеживаются типично веховские трактовки. Например, совершенно очевидно влияние тезиса М. О. Гершензона о том, что русская интеллигенция «ведет свою родословную» от петровских реформ, которые, «навязав» верхнему слою общества множество «драгоценных», но «чувственно еще слишком далеких идей», «механически раскололи в нем личность», освободив сознание от контроля воли и тем самым обрекли его на «чудовищные заблуждения» [94].

Нельзя не узнать здесь также вариации мысли Н. А. Бердяева о том, что русская интеллигенция пред-

---

[92] Красин Ю. А. Революцией устрашенные. М., 1975, с. 35.

[93] Милюков П. И. Очерки по истории русской культуры. Ч. 1, Спб., 1900, с. 10.

[94] Гершензон М. Творческое самосознание. — Вехи, 3-е изд., Спб., 1909, с. 79.

ставляет собой «своеобразный мир», «искуственно» выделившийся из «общенациональной жизни» под давлением «казенщины» реакционной правящей власти [95], и утверждение А. С. Изгоева, будто «духовная физиономия» интеллигенции явилась лишь следствием «многовекового господства» самодержавия [96].

Близость идей и выводов буржуазной историографии нашего времени с положениями «Вех» не случайна. «Веховство» выразило идеологию русской буржуазии периода развитого демократического и пролетарского движения, когда отчетливо выявилась ее «имманентная контрреволюционность» [97]. Эта политическая позиция и сближает «веховство» с современной, реакционной по своей сути буржуазной идеологией.

Таким образом, несмотря на интенсивные исследовательские поиски, особенно активно развернувшиеся в английской и американской буржуазной исторической литературе начиная с 50-х гг., проблема генезиса революционно-демократической интеллигенции не нашла правильного решения. Вследствие концептуальной ограниченности и стремления извратить действительный смысл русского революционного движения, чтобы обосновать вывод о его заговорщическом, антидемократическом характере, буржуазные историки оказались неспособными раскрыть причины появления и социальную природу русской революционно-демократической интеллигенции.

3. Истоки и своеобразие русской революционно-демократической мысли

Отказ от классового анализа в объяснении социальной природы и причин формирования русской революционной интеллигенции с самого начала приводит современных западных исследователей к поискам истоков ее идейно-теоретических позиций вне сферы общественных отношений. Решение проблемы связано непосредст-

---

[95] Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда. — Вехи, с. 1.

[96] Изгоев А. С. Об интеллигентской молодежи. — Там же, с. 120.

[97] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 13.

венно с тем, как авторы рассматривают рождение самой революционной интеллигенции, в чем они видят главные факторы, определяющие ее формирование. Соответственно этому строятся основные теоретические конструкции и делаются выводы относительно генезиса и национального своеобразия революционно-демократической мысли.

В буржуазной историографии доминирующей является концепция, в которой революционной интеллигенции отводится роль социально изолированной группы, вследствие чего распространенным становится стремление отыскать истоки и своеобразие ее общественной мысли, как и самой приверженности к революционным методам борьбы, в чем-то более широком и всеобъемлющем, нежели сфера социальных отношений.

По мнению рассматриваемых исследователей, это должна быть область чувств и настроений отчужденной от народа и государства интеллигенции. Острое чувство социальной изоляции рассматривается не только как импульс, побуждающий интеллигенцию стремиться к радикальному пересозданию существовавшего общественного строя, но и как основа, обусловившая содержательный смысл ее социально-политических теорий.

Нельзя не отметить, что сильно развившийся в последнее время интерес западных авторов к разного рода психологическим теориям, с помощью которых они надеются выработать более эффективный метод познания общественно-исторических явлений, находится в самой непосредственной связи с распространением в современной буржуазной историографии иррационалистического подхода к истории [98].

Установка на психологизацию исторических событий и процессов, отчетливо проявившаяся с 50-х гг., характерна не только для психоаналитических концепций, выделяющих роль подсознательного в мотивации поведения личности, но и для всей буржуазной историографии в целом, оценивающей психологические настроения социальных слоев и групп в качестве главной детерминан-

---

[98] Гаджиев К. С., Сивачев Н. В. Проблемы междисциплинарного подхода к «новой» научной истории в современной американской буржуазной историографии. — В кн.: Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1978, вып. 2, с. 146—147.

ты, определявшей их деятельность, а также их идейно-теоретические и социально-политические взгляды.

В работах английских и американских исследователей с самого начала сложилась определенная, четко прослеживаемая концептуальная схема, раскрывающая истоки и главные характеристики русской революционно-демократической мысли. Ее содержание целиком определялось господствовавшей в буржуазной историографии трактовкой русской интеллигенции в качестве исключительного феномена, появление которого оказалось возможным лишь в национально своеобразных условиях России.

При всем многообразии вариантов этой схемы ее основной смысл сводится к стремлению показать, что изолированная от реальной действительности русская интеллигенция создала свой отдельный, замкнутый на себя духовный мир, мир «внутренней эмиграции», когда ее представители становились как бы «иностранцами в своей собственной стране» [99].

Не найдя в условиях существования самодержавного режима возможности приложения своих сил, она целиком погружается в сферу теоретических абстракций, оторванных от реальной исторической почвы и лишенных демократической основы. Этот вывод поддерживается убежденностью буржуазных авторов в будто бы особой, свойственной лишь русской нации склонности к теоретизированию [100].

В результате, как утверждают исследователи, русская революционно-демократическая идеология полностью утрачивает связь с общественным развитием страны, замкнувшись в узком кругу своих сектантских теорий. Будучи лишенным конкретно-исторической почвы и широкой социальной базы, революционный демократизм как политическая доктрина представлял собой, по их мнению, не более чем «наивное детство» общественной мысли с присущими ему «слепотой» и «самообманом» [101].

[99] Woerlin W. Chernyshevsky. — The Man and the Journalist. Cambridge, 1971, p. 32.

[100] Pipes R. The Historical Evolution of the Russian Intelligentsia. — In: The Russian Intelligentsia./Ed. by Pipes R. N. Y., 1961, p. 57.

[101] Radkey O. The Agrarian Foes of Bolshevism. The Essence of Russian Populism. N. Y., 1958, p. 4.

Итак, согласно изначально сложившемуся и ставшему доминирующим в американской и английской буржуазной историографии взгляду весь идейно-теоретический багаж русской революционной демократии представлял комплекс абстрактных утопических идей и идеалов, не имевших исторической почвы и социально позитивного смысла. Действительная основа этих идей и идеалов усматривается лишь в чисто психологической убежденности их носителей — радикальной интеллигенции в том, что она являла собою «воплощенное сознание» нации [102].

Попытки буржуазных авторов обратиться к психологии радикальной интеллигенции с целью выявления истоков и содержания ее революционных воззрений представляются в целом правомерными и оправданными, поскольку социальная психология является важной составной частью общественного сознания и в качестве таковой воздействует на исторические события и процессы, в том числе на общественно-политические взгляды отдельных личностей или социальных групп.

Однако каким бы ни было субъективным, индивидуально окрашенным их восприятие социальных явлений, постоянной и основной детерминантой психологии представителей различных политических течений, отражающейся в их социальных воззрениях, является психология определенного класса. В объективной исторической реальности всегда есть нечто повторяющееся, устойчивое, общее, что в конечном счете неизбежно ставит всякого мыслителя в отношении к объекту своего познания на позиции определенного класса, передавая в том числе и его психологический настрой. Поэтому, чтобы до конца понять действительный смысл общественно-политических теорий, нужно учесть социальные устремления и психологию класса, с позиций которого выступают их носители.

В. И. Ленин подчеркивал, что для выяснения действительной социальной роли общественных групп важно не только определять их место в системе производственных отношений, но и учитывать их психологический облик [103].

---

[102] Pomper Ph. The Russian Intelligentsia, p. 6.
[103] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 20.

Отвергая классовый принцип в выявлении социальных позиций и места революционной интеллигенции, буржуазные авторы оказываются не в состоянии понять ее действительный психологический настрой. Они ограничивают истоки умонастроения интеллигенции лишь рамками ее собственного индивидуального бытия. В результате интеллигенция наделяется самостоятельной исторической перспективой и ее социально-политические взгляды трактуются соответственно как отражение узкогрупповой, сектантской психологии. Не случайно Т. Самуэли пишет, будто одним из любимейших занятий русской интеллигенции было накопление знаний о самой себе [104].

Именно так рассматриваемые авторы интерпретируют содержание революционно-демократической общественной мысли. Выдавая чувство убежденности в неизбежности революции как доминирующую черту русской интеллигенции, они пытаются вывести из этого чувства весь содержательный смысл социально-политических теорий радикальной интеллигенции.

Особо подчеркиваемая ими социальная изоляция интеллигенции обернулась-де для нее трагическим разрывом с реальным миром, когда она видела выход лишь в искусственно сконструированных общественно-политических идеалах (основанных на чисто утопических представлениях о будущем обществе), долженствовавших, по ее мнению, стать руководством в практических социальных действиях. Оттого, как утверждает, например Л. Хэймсон, в 30-е гг. XIX в., когда в русской интеллигенции уже в основном оформилось «чувство всесторонней отчужденности от общества», особым влиянием на молодежь пользовалась философия Фихте, отрицавшая связь индивидуальной души с реальным миром [105].

М. Карпович, ошибочно утверждая, что революционная демократия будто бы вообще оказалась неспособной осмыслить целесообразность и важность проводимых правительством в 60—70-е гг. реформ, пытался объяснить это оторванностью революционеров от действительных исторических задач и общественных потребно-

---

[104] Szamuely Th. Op cit, p. 144.

[105] Haimson L. The Russian Marxism and the Origin of Bolshevism, p. 56.

стей своей страны и утратой ими смысла реального хода исторических событий [106]. Выводы М. Карповича стали в 50—60-е гг. для большинства английских и американских историков отправными в оценке революционно-демократической идеологии. Целью их работ становится стремление изобразить деятелей революционно-демократического движения неразумными фанатиками насильственных методов борьбы, отвергавшими наиболее целесообразный и единственно приемлемый в условиях России путь постепенных мирных преобразований.

В связи с этим понятен большой интерес буржуазных исследователей к нигилизму, который трактуется как образ мышления, совершенно лишенный социального содержания. В его подчеркнуто резком отрицании всех жизненных устоев русского общества усматривается не осознание начавшегося распада старой социальной структуры [107], а только безусловный отказ от всех нравственных и этических ценностей, являвшийся следствием недоученности, теоретического невежества и даже полной моральной распущенности молодежи [108].

Повторяя эти традиционные для русского реакционного лагеря и продиктованные классовой ненавистью характеристики нигилизма в качестве умонастроения, лишенного в своей основе какого бы то ни было позитивного содержания, и идентифицируя его со всем революционно-демократическим движением в целом, многие авторы пытаются представить деятелей разночинского этапа революционного движения вообще и народнического в частности невежественными, совершенно утратившими нравственные устои недоучками. С. Томпкинс утверждает, например, что было бы большой ошибкой счи-

---

[106] Karpovish M. Imeperial Russia. 1801—1917, p. 40—41, 43—44.

[107] При всей своей идейно-теоретической нечеткости нигилизм как общественное явление был прогрессивным. Это хорошо показано в работах советских исследователей. Он выражал стихийный протест разночинских слоев против дворянско-сословного строя (см. напр.: Новиков Л. Нигилизм и нигилисты. Л., 1972).

[108] Jarmolinsky A. Road to Revolution. A Century of Russian Radicalism. London, 1957; Hingly R. Nihilists. Russian Radicalism and Revolutionaries in the Reign of Alexander II (1855—1881). N. Y., 1969; Tompkins S. The Russian Intelligentsia. Makers the Revolutionary State. Norman, 1957.

тать представителей русской радикальной интеллигенции людьми умственно и нравственно образованными [109].

Как к аргументам особой доказательной силы некоторые историки прибегают при этом к повторению клеветнических выпадов ренегата Л. Тихомирова в адрес лучших представителей народничества, таких как молодой Г. В. Плеханов, С. Л. Перовская, А. И. Желябов и др. Нимало не смущаясь тем, что ссылки на предателя, стремившегося в целях самооправдания опорочить своих бывших соратников и друзей, не могут украсить их собственные творения, они вслед за Тихомировым утверждают, будто высокогуманные идеалы народников являлись не более чем плодом «чудовищной незрелости ума, лжи и тупости» [110].

Оговариваясь, что и в истории Западной Европы существовал период общественного умонастроения, отрицавшего консервативную идеологию и господствовавшую официальную мораль, буржуазные исследователи стремятся тем не менее создать впечатление, будто нигилизм был чисто национальным явлением, «глубоко укоренившимся в русской жизни», и в связи с традициями особой преемственности общественной мысли еще более укрепился с появлением марксизма [111]. Все эти рассуждения венчает вывод о том, что деятели революционного движения в России складываются в своеобразный психологический тип людей, ставших в конце концов жертвами своих собственных незрелых, надуманных теорий [112].

Подобный подход к истолкованию революционно-демократической идеологии как лишенной трезвого понимания реальности и опирающейся на абстрактные экстремистские теории, естественно, породил стойкий интерес к идеологам самого движения.

Особым вниманием, чего и следовало ожидать, всегда пользовался М. А. Бакунин, игравший большую роль в освободительной борьбе не только в России, но и в Западной Европе. Концентрируя усилия на том, чтобы доказать духовное и теоретическое родство ленинизма и

---

[109] Tompkins S. The Russian Intelligentsia, p. 246.

[110] Hare R. Portraits of Russian Personalities between Reform and Revolution, p. 262—263; Tompkins S. Op. cit., p. 240.

[111] Tompkins S. Op. cit., p. 49.

[112] Ibid., p. 240—245.

бакунизма, как одного из течений революционного народничества, буржуазные исследователи в утрированном виде представляют ошибки в теоретических, равно как и в практических исканиях Бакунина. Цель одна — дискредитация всего прогрессивного общественного движения в России и прежде всего большевизма [113].

Бакунин представляется в их работах личностью, которая не могла бы появиться в условиях нормальной общественной жизни [114]. Его изображают авантюристом, теоретические работы которого были лишь незначительными «умственными эпизодами», являвшими собою смесь лжи и правды [115]. Историков нимало не смущает, что некоторые из этих работ —«Реакция в Германии», «Государственность и анархия», «Кнуто-германская империя» и др.— получили большой общественно-политический резонанс как в России, так и за рубежом. Как бы предвидя вопрос, почему же в таком случае М. А. Бакунин был столь популярной и «влиятельной фигурой», Э. Карр заявляет: «А разве не самых бессовестных политических и религиозных шарлатанов идеализировали всегда их современники?» [116]. Изображенный в столь мрачных тонах образ М. А. Бакунина должен стать, по замыслу авторов, яркой иллюстрацией, подтверждающей их спекулятивные выводы о полной теоретической несостоятельности русских революционных деятелей вообще.

Аналогичным образом интерпретируются и взгляды П. Н. Ткачева. Историки стремятся отыскать в них прежде всего то, что позволило бы представить этого признанного идеолога революционного народничества как волюнтариста и заговорщика. При этом совершенно замалчивается то обстоятельство, что Ткачев был незаурядным мыслителем, способным к глубоким социологическим наблюдениям и выводам, мыслителем, который не только внимательно изучал социально-экономические и политические условия в пореформенной России, но и особенно глубоко (в сравнении с другими идеологами

---

[113] Подробнее см.: Джангирян В. Г. Критика англо-американской буржуазной историографии М. А. Бакунина и бакунизма. М., 1978.

[114] Carr E. Michael Bacunin. N. Y., 1961, p. 150.

[115] Ibid., p. 20—21, 34.

[116] Ibid., p. 21.

революционного народничества) понял их своеобразие.

Нельзя не отметить, что в работах, посвященных исследованию общественных воззрений П. Н. Ткачева, особенно отчетливо выступает их политическая направленность [117]. В резко утрированной форме подчеркивая бланкистские, заговорщические тенденции в теоретическом обосновании Ткачевым возможности и целесообразности революции в России, авторы прибегают к подмене объективного анализа действительных фактов поверхностными аналогиями и даже откровенной фальсификацией, чтобы доказать ложный тезис о тесной идейно-теоретической преемственности взглядов Ткачева и Ленина.

По-другому рисуется облик Н. К. Михайловского. В ряде работ он показан широкообразованным мыслителем, обладавшим гибким, проницательным и оригинальным умом. Как общественный деятель Н. К. Михайловский, по мнению авторов этих работ, наилучшим образом воплотил основные идеи своего времени и в силу этого оказал несравненно большее влияние на развитие общественного движения в пореформенной России, чем все другие деятели радикального направления, вместе взятые [118].

Столь полярные оценки видных представителей народнической мысли объясняются просто. То обстоятельство, что Михайловский сотрудничал в легальной народнической печати, а его причастность к революционному подполью оставалась нераскрытой, дает возможность буржуазным ученым трактовать его только как либерала, стоявшего в течение всей своей общественно-политической деятельности на конституционно-реформистских позициях и испытывавшего явную «антипатию как к реакции, так и к революции» [119]. Его настойчивая и яркая пропаганда политической борьбы в качестве необходи-

---

[117] См., напр.: Karpovich M. A. Forerunner of Lenin: P. N. Tkachev. — The Review of Politics, 1944, v. 6, N 3; Weeks A. The First Bolshevik. A Political Biography of Peter Tkachev. N. Y., 1968.

[118] Mendel A. Dilemma of Progress in Tsarist Russia. Legal Marxism and Legal Populism. Cambridge, 1961, p. 4, 5—6, 7, 8; Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism. Oxford, 1958, p. V—VI, 34, 36.

[119] Billington J. Op. cit., p. 49.

мого условия подготовки успешной революции [120] изображается как проповедь типичного реформиста, стремившегося направить страну на путь постепенных мирных преобразований и даже не гнушавшегося апелляцией к государственным властям [121].

В свете сказанного становится понятным столь благожелательное отношение к Н. К. Михайловскому. Оно коренится в стремлении противопоставить его другим идеологам народничества, проповедовавшим неизбежную революцию и стремившимся по мере сил ускорить ее приход.

Рассмотренные примеры убедительно свидетельствуют о том, что, интерпретируя соответствующим образом взгляды идеологов революционно-демократического движения, буржузные историки стремятся обосновать вывод о неспособности русских революционных деятелей выработать рациональные социальные теории. Они пытаются представить теоретические идеалы революционной демократии в качестве беспочвенных, изначально лишенных позитивного социального смысла фантазий.

Все эти рассуждения основаны на прямом извращении исторической действительности. Правильной является лишь мысль о том, что русская демократическая интеллигенция стояла на крайнем левом фланге общественной борьбы, занимая наиболее радикальные позиции. Но это обстоятельство было вовсе не следствием отчужденности и кастовой замкнутости интеллигенции, а, напротив, выражением горячего стремления лучших ее представителей приблизиться к народу, результатом искреннего чувства сострадания к его жизни. Испытывая на себе гнет непрестанных политических гонений и политического произвола, русская демократическая

---

[120] Место и роль Михайловского в революционно-народническом движении как одного из его идеологов хорошо показаны советскими историками (см., напр.: Седов М. Г. К вопросу об общественно-политических взглядах Н. К. Михайловского. — В сб.: Общественное движение в пореформенной России. М., 1965, с. 179—211); Казаков А. П. Теория прогресса в русской социологии конца XIX века (П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, М. М. Ковалевский). Л., 1969; Малинин В. А. Философия революционного народничества. М., 1972; Пантин И. К. Социалистическая мысль в России: Переход от утопии к науке. М., 1973.

[121] Hare R. Op. cit., p. 247.

интеллигенция особенно остро воспринимала общественные настроения эксплуатируемых масс [122].

В среде наиболее радикальных ее представителей зрело чувство исторической вины привилегированного слоя, вылившееся в осознание своей нравственной обязанности — выработать правильную теорию, способную стать руководящей в социально-преобразовательной деятельности. В этой ситуации стремление к созданию цельного научного мировоззрения и теории революционного действия являлось, как убедительно показано в работах советских исследователей, основой, объединяющей революционно-демократическое движение на всем разночинском этапе борьбы в единое общественное движение [123].

Вывод о полной оторванности социальных идеалов революционной демократии от реальной исторической почвы, ставший в буржуазной историографии вплоть до 70-х гг. почти безраздельно господствовавшим, ставил, однако, перед буржуазными авторами целый ряд других исторических загадок. Прежде всего, возникал вопрос о том, что же в таком случае питало подобные идеалы? Каковой была та реальная основа, которая определяла позитивное содержание «социальной мечты» революционных демократов? И наконец, что обусловило демократическую направленность взглядов революционной интеллигенции, ее ориентацию на крестьянство? Если революционно-демократические теории были всего лишь выражением интересов самой интеллигенции, то как тогда объяснить веру ее радикальных слоев в крестьянскую революцию и попытки организовать ее? Последний вопрос, как известно, всегда был камнем преткновения для русских либерально-буржуазных историков.

В ходе обсуждения этого вопроса в английской и американской буржуазной историографии складываются два основных подхода, которые условно можно назвать этическим и рационалистическим.

генция России во второй половине XIX в. М., 1971.

[122] Подробнее см.: Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция России во второй половине XIX в. М., 1971.

[123] См.: Казаков А. П. Теория прогресса в русской социологии конца XIX века; Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова. М., 1972; Твардовская В. А. Социалистическая мысль России на рубеже 1870—1880 гг. М., 1969; Малинин В. А. Указ. соч.; Пантин И. К. Указ. соч.

Смысл первого («этического») заключается в особом подчеркивании стремления русской интеллигенции к нравственно-этическим нормам и в утверждении, что следствием этого было создание наиболее деятельными и радикально мыслящими ее представителями своего социального идеала — идеала, являвшего собою теоретическое осмысление собственных, свойственных русским вообще, чисто национальных представлений о морали. Попытки выявить истоки этого особого тяготения русской интеллигенции к нравственным идеалам приводят ряд авторов к поискам религиозных корней и связанных с ними мессианских настроений в качестве основы воззрений и действий революционной интеллигенции.

Революционно-демократическая идеология изображается в работах этих исследователей как некое новое верование, восходящее своими корнями к ортодоксальной мессианской религиозной традиции и поддерживаемое скрытым эсхатологическим характером революционных теорий. Так, Дж. Биллингтон полагает, например, что народничество представляло собой некий новый вид христианства, обнаруживший как «внешнее сходство», так и «внутренние связи» с сектантскими верованиями, и поэтому народническую идеологию нельзя понять без уяснения ее «глубоко религиозной основы» [124]. Эта мысль вполне отчетливо выражена еще у Ф. Дана. В сложившейся конкретной ситуации, писал он, обосновывая свой тезис о мессианской основе революционной теории, гнетущее чувство социальной изоляции русской интеллигенции обернулось для нее «гордым сознанием» своей великой исторической миссии [125].

Исходя из того, что революционно-демократическая идеология не была целостной логической системой, но сложным и нередко противоречивым комплексом идей, к тому же будучи не в состоянии понять основы этого явления (заключавшейся в социально-экономических условиях России переходного от феодализма к капитализму периода ее истории), приверженцы данного подхода

---

[124] Billington J. Mikhailovsky and Russian Populism, p. 120—121. См. также: Mc Connel M. The Origin of the Russian Intelligentsia. — The Slavic and East European Journal, 1964, v. 8, N 1, p. 12.

[125] Dan Th. The Origin of Bolshevism. London, 1964, p. 26.

приходят к выводу, что революционно-демократические теории не могут быть объяснены только с позиций рационального [126].

По их мнению, социально-политические теории русской революционной демократии скорее всего являлись ответом на личные затруднения, ответом, основывающимся на нравственных догмах православной религии и христианском благочестии или, по крайней мере, стимулирующимся ими. Некоторые историки подчеркивают при этом, что русским вообще было свойственно мессианство. Коренящееся в религиозных верованиях, оно, по их мнению, укреплялось авторитарной властью. Византийская пышность царского двора, призванная укрепить в подданных мысль о теократическом происхождении самодержавия, рождала в них чувство национального превосходства и воспитывала веру в свое особое предназначение [127]. Что же касается интеллигенции, то, утверждают они, мессианство поддерживалось в ней, кроме того, отраженным влиянием столь же древней национальной традиции автократии не просто руководить народом, но и мыслить за него [128].

Подобного рода трактовки революционно-демократической идеологии в качестве теоретического оформления некоей новой нравственной религии, усилённой неприятием радикальной интеллигенцией автократической власти, не утратили своего места в рассматриваемой литературе вплоть до недавнего времени. Так, например, Дж. Кип характеризует взгляды революционеров-демократов как выражение «апокалиптического» стремления русской интелигенции вообще к «всеобщему возрождению общества» [129]. Это стремление, считает он, порождало гипертрофию нравственного подхода к политике, что, в свою очередь, приводило радикальные круги интеллигенции не только к самолюбованию, но в конечном сче-

---

[126] Riasanovsky N. A History of Russia. N. Y., 1969, p. 424.
[127] Charques R. The Twilight of Imperial Russia. London, 1952, p. 153.
[128] Wolf B. Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought, p. 178.
[129] Keep J. Imperial Russia. Alexander II to the Revolution.— In: An Introduction Russian History. Cambridge, London, N. Y., Melbourn, 1970, p. 244.

те к подчинению всех идей и действий лишь своим собственным политическим целям [130].

Итак, суть данного подхода состоит в том, что «этический пафос» считается главным конституирующим элементом в системе революционных взглядов, независимо от того, как решается вопрос о его истоках. Сводятся ли они к влиянию религиозных православных догматов, заимствованию ли гуманистических идеалов Запада или к отраженному влиянию господства в стране самодержавия, для которого нравственная обязанность по отношению к своим подданным (если таковая вообще была) являлась единственным регулятором власти [131].

Во всех случаях, однако, согласно утверждению сторонников «этического» подхода, нравственные нормы и «этический гуманизм» были определяющими в революционно-демократической идеологии и в силу своей абстрактности могли привести к созданию лишь далеких от реальности утопических идеалов. Так, например, М. Малиа, пытаясь в свое время объяснить истоки социализма А. И. Герцена, особо выделял влияние на взгляды революционера западного романтизма с его пафосом отвлеченного, туманного гуманизма. «Когда шиллеровский идеал духовной красоты превращался в реальную программу действий,— писал Малиа,— он мог привести лишь к тотальным политическим требованиям и в конечном счете к идее революции» [132].

В морально-этических стремлениях, якобы тесно связанных с религиозно-мессианскими настроениями, усматривалась также главная причина обращения радикальной интеллигенции и к крестьянским массам, являвшимся самой страдающей, угнетенной частью населения Российской империи. В то же время, по мнению исследователей, именно в мессианстве с его гипертрофией нравственного подхода к социальным проблемам заключалась причина, приведшая интеллектуальную элиту страны к обратным результатам — еще большему отры-

---

[130] Ibidem.
[131] Charques R. Op. cit., p. 15.
[132] Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism. Cambridge, 1961, p. 55.

ву ее от масс народа и безуспешным попыткам преодолеть этот разрыв.

Другой из выделенных нами подходов («рационалистический») основывается в своих выводах на утверждении об особой склонности русского ума к отвлеченному теоретизированию. Его приверженцы, как и сторонники первого подхода, в целях обоснования своих концепций обращаются к отдаленному прошлому России. Отмеченное ими свойство русского интеллекта (склонность к философствованию) уходит своими корнями, согласно их утверждениям, еще в эпоху царствования Петра I. Его реформы, утверждают они, не только положили начало социальной отчужденности интеллигенции, обусловив этим ее погружение в абстрактное теоретизирование, но и привели к разрыву исторического сознания нации, нарушив в нем чувство исторической преемственности. В итоге весь склад ума русского дворянства, из которого вышла в своей подавляющей массе интеллигенция, оказался в большей мере рационалистическим (особо восприимчивым к универсальным или ориентированным на абсолюты идеям), нежели традиционным [133].

Рационализм русской интеллигенции поддерживался, по мнению рассматриваемых авторов, осознанием культурной отсталости своей страны, желанием поскорее вывести ее из этого состояния, желанием, порожденным острым чувством ответственности за судьбу своего отечества. Это чувство, в свою очередь, сопровождалось особой национальной гордостью и амбициями (сродни мессианству), свойственными всегда представителям отсталых наций [134]. Утверждается при этом, что в России ответственность представителей «образованной элиты» за будущее своей нации и народа была особенно большой в силу своеобразия их положения в социальной структуре страны [135].

---

[133] Raeff M. Home, School, and Service in the Life of the Eighteenth-century Russia Noblemen. — In: The Structure of Russian History/Ed. by M. Cherniavsky. N. Y., 1970, p. 220—222.

[134] Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia, p. 7; Pipes R. The Historical Evolution of the Russian Intelligentsia, p. 57.

[135] Ibidem.

Следует отметить, что в конкретной историографической практике выделенные нами подходы отнюдь не всегда четко разграничены. Нередко одни и те же исследователи (М. Малиа, Дж. Биллингтон, Р. Пайпс и др.) то особо подчеркивают первенствующую роль и значение рационального начала в революционно-демократической идеологии, то стремятся акцентировать внимание на нравственно-этических мотивах идейно-теоретических и практических исканий революционных деятелей, окрашивая их в ярко выраженные религиозные тона. Это обстоятельство является еще одним доказательством отсутствия в буржуазной историографии единой действительно научной методологии в подходе к анализу истоков и содержания революционных теорий.

При всем внешнем различии трактовок генетических корней революционно-демократической идеологии (усматриваются ли они в особом стремлении радикальной интеллигенции к нравственно-этическим идеалам или в приверженности ее к рациональному началу), эти подходы близки между собой. Их сближает убежденность в том, что всякая общественная мысль, и русская прежде всего (вследствие присущего ей национального своеобразия, заключающегося в особой преемственности идей и теорий), трансформируется под влиянием своей внутренней структуры и имманентной диалектики идей. Кроме того, главный импульс, придавший движение общественной мысли, усматривается как в том, так и в другом случае в «психологическом опыте» интеллигенции, порожденном ее социальной отчужденностью.

Внутренняя близость этих подходов дала возможность их сторонникам в конечном итоге прийти к общему выводу относительно причины ориентации революционеров на крестьянство. Основа ее видится в теоретической отвлеченности революционных деятелей от условий и задач общественно-исторического развития своей страны. Утверждается, что в такой стране как Россия, где полностью отсутствовали демократические институты и где, следовательно, демократия не имела исторических корней и национальных традиций, социальные идеалы должны были быть и всегда были лишь плодом чисто абстрактных, рационалистических построений или отражением столь же отвлеченных нравственно-этиче-

ских исканий, не связанных с реальными общественными потребностями своего народа.

Эта особенность русской передовой общественной мысли и дала, по мнению буржуазных авторов, радикальной интеллигенции возможность считать себя выразительницей общенациональных интересов, а свои теории — отражением «общепринятых идеалов» [136]. Испытав в условиях самодержавного режима «крушение чувства собственного достоинства», революционеры, пишет М. Малиа, вывели «абстрактный идеал достоинства всех людей» [137]. Отсюда логически следовало, что в своих попытках реализовать его они должны были обратиться, как они и делали, к самой угнетенной и униженной части населения своей страны — крестьянству.

Ту же мысль мы находим и в рассуждениях Е. Лэмперта о том, что чувство человеческой солидарности и служения обществу «более аристократично» по своей сути, нежели просто осознание своей привилегированной позиции. Не случайно, считает он, русская радикальная интеллигенция старалась развить в себе это чувство, полагая, что без него вообще не может быть культуры нации [138].

В данном случае, как и во многих других, буржуазные историки полностью игнорируют действительный смысл социальных взглядов и позиций революционеров-демократов, не давая себе труда проанализировать реальные исторические факты. Они предпочитают не замечать, что вся деятельность революционеров была отмечена не только напряженными идейно-теоретическими исканиями, продиктованными желанием выработать цельное научное мировоззрение, но и стремлением в своих поисках встать на почву реального. Это выразилось в их попытках понять особенности исторического развития России, а также осмыслить место крестьянства как класса в системе социальных связей страны и заложенные в нем экономические и социальные потенции. Не

---

[136] Stepun F. The Russian Intelligentsia and Bolshevism, p. 268—269.

[137] Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, p. 421; Idem. What is Intelligentsia?, p. 6; Pomper Ph. The Russian Intelligentsia, p. 6.

[138] Lempert E. Sons against Fathers. Studies in Russian Radicalism and Revolution. Oxford, 1965, p. 88.

чем иным, как практическим воплощением такого рода стремлений идеологов революционного движения базировать свои планы социальных преобразований в стране на материальной основе являлась, например, герценовская теория «общинного социализма» [139].

Известно также, какие напряженные и глубокие исследования закономерностей и особенностей социально-экономического развития России предваряли разработку П. Н. Ткачевым плана организации крестьянской революции и социалистических преобразований в России [140], какая страстность и увлеченность пронизывают полемику Бакунина и Герцена о своеобразии крестьянской общины в России, условиях и способности ее к поступательному развитию [141]. Известно, наконец, что вся многогранная деятельность Н. Г. Чернышевского была подчинена единой цели — обоснованию необходимости социальных преобразований во имя социалистических идеалов, цели, которая обусловила интерес и внимание мыслителя к условиям жизни крестьянства: характеру поземельных отношений, влиянию крепостного права, а после реформы 1861 г.— его остатков на состояние и развитие крестьянского хозяйства [142].

Крестьянский вопрос был в истории России XIX в. тем главным внутренним стержнем, на который нанизывалась и вокруг которого вращалась вся общественно-политическая жизнь страны. Поэтому глубокий интерес передовых общественных деятелей к крестьянству был не только закономерен, но и исторически неизбежен.

Мы убедились, что политические позиции революционной демократии не соотносятся буржуазными авторами с задачами общественно-исторического развития страны. Ее планы социальных преобразований изображаются в качестве неких абстрактных, полностью ли-

---

[139] Подробнее об этом см.: Смирнова З. В. Социальная философия А. И. Герцена, М., 1973.

[140] См.: Пустарнаков В. Ф., Шахматов Б. М. П. Н. Ткачев — революционер, публицист, мыслитель. — В кн.: Ткачев П. Н. Соч.: В 2-х т. М., 1975, с. 5—90; Шахматов Б. М. П. Н. Ткачев: Этюды к творческому портрету. М., 1981.

[141] См.: Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Спб., 1906.

[142] См.: Розенфельд У. Д. Н. Г. Чернышевский. Минск, 1972.

шенных реальной почвы утопических прожектов. Даже требование уничтожения самодержавной власти рассматривается как нерациональное, осуществление которого могло бы лишь помешать поступательному развитию страны.

Этот конкретный вывод как нельзя лучше демонстрирует идейную направленность всех концептуальных построений буржуазных историков, отчетливо обнаруживая их ненаучность и даже откровенную абсурдность. Самодержавие, которое оценивается ими как сила, исключавшая самое возможность существования в России демократических традиций и институтов и, следовательно, задерживающая поступательное развитие страны, рассматривается в то же время как наиболее целесообразная, если вообще не единственно возможная здесь форма политической власти. И, соответственно, мысль о его ликвидации преподносится как несвоевременная и гибельная для общества в целом.

Такого рода противоречивые выводы побуждают некоторых исследователей обратиться к осмыслению социально-экономической основы революционно-демократической идеологии. Попытки объяснить становление и развитие революционной общественной мысли историческими условиями в стране вылились в тенденцию, достаточно отчетливо обнаружившуюся в западной историографии к середине 60-х годов. Она соотносится непосредственно с оформившимся в это время течением, объясняющим появление интеллигенции происходившими в России XIX в. социальными переменами.

Так, Лэмперт считает даже «общепринятым» положение о том, что русская политическая мысль была связана с внутренними проблемами своей страны «теснее, чем где бы то ни было в Европе». По его мнению, представление о русской социологии и философии как о «безобидном», чисто интеллектуальном занятии не было свойственно общественной жизни России XIX столетия [143]. Та же мысль содержится и в утверждении Н. Чировского о том, что революционное движение всегда существовало в Россий как реакция не только на ее тра-

[143] Lempert E. Op. cit., p. 137.

диционный экстремальный политический, но и социальный консерватизм [144].

В этом плане заслуживает быть отмеченной работа американского историка А. Менделя «Дилемма прогресса в царской России». Полемизируя со своими соотечественниками А. Гершенкроном, О. Рэдки, Л. Хэймсоном и др., представлявшими революционный демократизм и, в частности, народничество «витавшей над облаками» теоретической доктриной, оторванной от реальной почвы и неспособной понять действовавшие в стране экономические силы, А. Мендель отмечает рациональный смысл народнической идеологии. Он трактует народничество как непосредственную реакцию на конкретную российскую действительность того времени. Немало причин, по его мнению, способствовало тому, что «богатые дворяне» Д. И. Писарев, А. И. Герцен и «блестящие журналисты» В. Г. Белинский и Н. К. Михайловский, люди хорошо образованные, целеустремленные и гордые собственным положением культурной элиты, не могли ограничиться самоусовершенствованием и удовлетворяться удобной жизнью своего класса. Состояние современной им социальной и политической жизни страны, «сила народных страданий» и неразвитая экономика, не представлявшая широких возможностей для практических занятий, толкали их в оппозиционный правительству лагерь [145].

Эти выводы заслуживают внимания как проявление стремления отдельных буржуазных историков к более глубокому осмыслению сути революционно-демократической идеологии. Однако они отнюдь не означают, что их авторам действительно удалось связать революционные теории с социально-экономическими процессами в стране. Мендель, например, как следует из дальнейших его рассуждений, вовсе не оправдывает политическую программу революционных народников. Ему импонирует в народничестве лишь субъективистское истолкование исторического процесса, а именно мысль о том, что только свобода воли и вытекающие из нее личная ответственность, мораль и справедливость являются подлинным

[144] Chirovsky. An Introduction to Russian History. N. Y., 1967, p. 149.

[145] Mendel A. Dilemma of Progress in Tsarist Russia. Legal Marxism and Legal Populism. Cambridge, 1961, p. 14.

«акушером социализма» [146]. Другими словами, он отмечает позитивный смысл народнических теорий лишь с целью обосновать вывод о том, что социализм вовсе не обусловлен объективно, но является следствием чисто субъективистских абстрактных теоретических построений.

Кроме того, идеология революционного народничества интересует автора лишь постольку, поскольку она явилась теоретической основой социально-экономической программы либерального народничества, в которой он усматривает глубокий реальный смысл. По его мнению, именно либеральное народничество и легальный марксизм являлись самыми существенными откликами на «трагическую ситуацию» в России в конце XIX — начале XX вв. При этом социальная программа либеральных народников, стремится доказать А. Мендель, была жизнеспособнее и популярнее, поскольку-де, она вела страну к действительной демократизации [147].

Почему же в таком случае либеральные народники потерпели фиаско как политическая сила? Мендель объясняет это тем, что, концентрируя внимание на немедленном осуществлении программы социального равенства, они упустили наиболее эффективное средство борьбы за него — требование конституционных свобод. Если бы либеральные народники взяли на вооружение политическую программу легальных марксистов, считает историк, то они имели бы гораздо больше шансов на успех, чем любая другая политическая партия. Таким образом, работа А. Менделя с ее политическим подтекстом — неприятие революции как средства решения социальных конфликтов — не выпадает из общего потока рассматриваемой литературы о русском революционно-демократическом движении.

Не выпадают из этого потока и работы других авторов, пытающихся связать революционно-демократические теории с социальным развитием России. В их изображении исторические условия представляются лишь внешним фоном, на котором развертывается драма автономных, лишенных классовой направленности идей, развивающихся по своей собственной внутренней логи-

[146] Ibid., p. 29.
[147] Ibid., p. 232—233.

ке. И когда М. Фейнсод, например, утверждает, что русская домарксистская революционная интеллигенция ориентировалась на крестьян потому, что видела в них «социалистов по инстинкту и революционной традиции» [148], он при этом не дает себе труда разобраться в действительной основе, порождавшей эту иллюзию.

Аналогичной является также позиция и других исследователей, которых отличает достаточно выраженное стремление к более объективному освещению исторических событий. Так, например, Е. Лэмперт, анализируя взгляды Чернышевского, пытается связать их с имевшими место в стране социальными процессами. Однако попытки эти оказываются несостоятельными. Отмечая, что Чернышевскому-мыслителю были свойственны «здоровая простота» и «ясное представление» о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о «подлинном» и «мнимом», он считает тем не менее, что мысль всегда была чем-то «отдельным» от него, хотя и составляла в то же время основу всего его существа [149]. Это проявлялось в том, утверждает он, что Чернышевский обладал способностью в процессе полемики настолько заострять и развивать свои теории, что не оставалось места для собственных сомнений. В результате же его теории якобы лишались должной глубины и утонченности, чтобы быть способными правильно отражать реальность [150].

Таким образом и те наиболее вдумчивые исследователи, которые признают связь революционной мысли России с имеющими место в стране социально-историческими процессами, оказываются не в состоянии понять эту связь во всей ее диалектической сложности и глубине. Их признания остаются формальными, лишенными реального исторического обоснования. И в итоге, как мы убедились на примере рассуждений Е. Лэмперта, авторы приходят к традиционным в буржуазной историографии выводам об абстрактном характере русской революционно-демократической идеологии.

Объективности ради следует оговориться, что ряд историков (М. Раев, Е. Лэмперт, Н. Чировский и неко-

---

[148] Fainsod M. How Russia is Rulled. Cambridge, 1963, p. 12.
[149] Lempert E. Op. cit., p. 137—138.
[150] Ibidem.

торые другие) не оценивают саму по себе убежденность радикальной интеллигенции в собственном долге представлять общенациональные интересы страны как необоснованные претензии лишенной на это морального права кучки «внутренних экспатриантов». Беда состояла в том, по их мнению, что предлагаемые революционными деятелями планы социальных преобразований были изначально лишены реальной исторической почвы в силу отсутствия в стране демократических традиций и институтов. В этом и заключались-де истоки и основа утопизма всех замыслов революционно-демократической интеллигенции.

Исследования других авторов, также пытавшихся раскрыть причины и смысл революционно-демократического движения на основе анализа конкретной исторической ситуации в России второй половины XIX в., столь же ненаучны. Они имеют общую для всех рассматриваемых работ основу — ошибочное положение о качественной однородности социально-экономических условий в стране на протяжении всей ее пореформенной истории. В России после крестьянской реформы 1861 г. и вплоть до начала XX столетия (период, характеризуемый В. И. Лениным как эпоха радикальной ломки, «усиленного роста капитализма снизу и насаждения его сверху»[151]) не произошло, по их мнению, никаких решительных перемен. Поэтому (утверждает, в частности, Р. Пайпс) перед социал-демократами стояли будто бы те же задачи, что и перед народниками, поскольку их «принципиальным врагом» была не буржуазия, а монархия в ее наиболее консервативной форме и главной организационной базой являлось не рабочее движение, очень незначительное в стране со слаборазвитой промышленностью, а интеллигенция[152].

В данном случае положение о неизменности социально-экономических условий в стране служит целям доказать мнимую идентичность задач, стоявших перед революционными движениями на совершенно разных этапах его развития. Это понадобилось, чтобы попытаться в очередной раз убедить читателя в отсутствии коренных

---

[151] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 20, с. 38, 102—103.

[152] Pipes R. Russian Marxism and its Populist Background. — Russian Review, 1960, N 4, p. 318.

отличий ленинизма от революционного демократизма и таким образом доказать недемократический характер преобразований, начатых Октябрьской революцией.

Настойчивое стремление изобразить русскую революционную социально-политическую мысль как цепь лишенных реальной исторической почвы бесплодных утопий приводит буржуазных исследователей к ошибочной трактовке ряда других связанных с нею проблем. В их числе особенно большое внимание авторов привлекает проблема идейных влияний Запада.

Трактуя интеллигенцию в качестве оторванной от общества и государства социальной группы, а ее теоретическую мысль в силу этого замкнутой на себя, буржуазные авторы приходят к выводу о неизбежной потребности последней во внешних стимулах для обеспечения своего развития. Отсюда, заключают они, и следовала особая подверженность русской общественной мысли западным влияниям. Как утверждал, в частности, Л. Хэймсон, на протяжении всего XIX в. русская интеллигенция находилась в постоянном поиске «философской панацеи», быстро переходя от одного «интеллектуального бога» к другому, поскольку ритмы ее исканий были более напряженными, чем темпы эволюции европейской мысли [153].

Тезис о необычайной способности русских революционных мыслителей к некритическому восприятию философских и социально-политических теорий Запада особенно широко варьировался в буржуазных исследованиях в 50—60-е гг. Русская интеллигенция изображалась в них совершенно неспособной к самостоятельной творческой деятельности и слепо заимствовавшей социальные и политические идеи Запада. Так, по словам Р. Дэниельса, русские мыслители всегда самоотверженно следовали «каждой новой радикальной или утопической доктрине, появлявшейся в Европе» [154]. К. Тидмарш утверждал вслед за веховцем М. Гершензоном, что в русской социально-политической мысли не было и подобия самостоятельного национального развития. Поэтому, считал он, в ее истории следует выде-

[153] Haimson L. The Russian Marxism and the Origin of Bolshevism. Cambridge, 1955, p. 8.

[154] A Documentary History of Communism from Lenin to Mao/Ed. by R. Daniels. N. Y., 1966, p. XXVII.

лять не этапы внутренней эволюции, а периоды преобладания той или иной иноземной доктрины [155]. Столь же категоричен в своих утверждениях на этот счет Ф. Помпер. По его мнению, в истории русского революционного движения вообще отыщется очень немного эпизодов, которые «прямо или косвенно не были бы связаны с заграничными событиями» [156]. Помпер считает, например, что П. И. Пестель, создавая Русскую Правду, исходил не из исторического опыта своей страны (он лишь использовал русскую терминологию), а из опыта французской революции и Северо-американской республики [157]. Хотя, замечает далее исследователь (в соответствии со своей трактовкой истории русского революционного движения как истории усиления западного влияния), П. И. Пестель еще не утратил окончательно связи с общественными задачами и потребностями своей страны, что произошло позже с представителями последующих поколений революционеров [158].

Не трудно догадаться, что тезис о прямой зависимости общественной мысли России от социально-политических теорий Запада имеет своей гносеологической основой не только неверное истолкование своеобразия русской интеллигенции как социально отчужденной группы, но и традиционное в буржуазной историографии ненаучное представление об извечной отсталости России, побуждавшей ее с самого начала к заимствованию «образцов Запада». Под таким углом зрения процесс социально-экономического развития страны предстает, что уже отмечалось нами, в качестве процесса ее «вестернизации», охватившего все сферы национальной жизни. Он-то будто бы и обусловил внешне кажущийся «парадоксальным» (учитывая выраженное национальное своеобразие России) факт огромного влияния общественной мысли Запада на русскую «интеллектуальную элиту». Это обстоятельство старается особо отметить в своих работах М. Раев [159].

---

[155] Tidmarch K. Lev Tikhomirov and a Crisis in Russian Radicalism. — The Russian Review, 1961, v. 20, N 1, p. 45.

[156] Pomper Ph. The Russian Revolutionary Intelligentsia, p. 11.

[157] Ibid., p. 23.

[158] Ibidem.

[159] См., напр.: Raeff M. Origin of the Russian Intelligentsia N. Y., 1966, p. 150.

Развивая и обосновывая данное положение, Р. Пайпс предложил в свое время любопытную схему, объясняющую, по его мнению, необычайную восприимчивость русской социальной мысли к инонациональным влияниям. Он выделяет в содержании понятия «вестернизация» два аспекта: широкий — «культурная вестернизация», означающий принятие Россией европейского образа жизни в целом, и узкий — «философская вестернизация» — заимствование западных теорий и идейных течений [160]. «Культурная вестернизация» подготовила, в его трактовке, широкое восприятие русской общественной мыслью различных европейских интеллектуальных веяний. Обусловив появление в стране значительного слоя секуляризованного, либерально мыслящего дворянства, особенно заметно возросшего численно во второй половине XVIII в. (после отмены в 1762 г. обязательной службы дворян) и превратившегося в праздный класс, она тем самым создала благоприятную почву для заимствования европейских идей и теорий [161].

Таким образом, концепция «вестернизации» являлась теоретическим обоснованием в решении буржуазными авторами проблемы места и роли инонациональных идейных влияний в интеллектульной истории России. Мы убедились на примере рассуждений Р. Пайпса и М. Раева, что особая восприимчивость русской интеллигенции к влияниям общественной мысли Запада трактуется как прямой результат и в то же время неотъемлемая составная часть процесса «вестернизации» страны. Американский исследователь Т. фон Лауэ, как бы подводя итог этим теоретическим построениям, утверждает, что вообще все основные устремления Русского государства и общества могут быть осмыслены «только в европейском контексте», как «эхо западных тенденций» [162].

Провозглашая беспрецедентное влечение русской интеллигенции к некритическому восприятию философских и социально-политических теорий Запада, буржуазные авторы объясняют это не только ее мнимой неспо-

---

[160] Pipes R. The Historical Evolution of the Russian Intelligentsia. — Daedalus, 1960, Summer, p. 487.

[161] Ibid., p. 488.

[162] Laue Th. von. The State and Economy. — In: Russian Economic Development from Peter the Greate to Stalin, p. 200.

собностью создать собственные теоретические ценности (результат отсталости страны и социальной отчужденности самой интеллигенции), но также еще и тем, что ей будто бы было имманентно присуще «побуждение к идеальному». В такой ситуации тяготение к духовному миру Запада становилось одной из важнейших национальных особенностей России [163].

В итоге, согласно утверждению рассматриваемых авторов, интеллектуальная история России являла собою ряд сменявших друг друга заимствований инонациональных культур, когда русские мыслители почти без разбора хватались за всякую новую западную теорию, будучи далеко не всегда способными глубоко разобраться в ее содержании [164]. Создавался порочный круг: по мере увлечения западными идеями все более усиливался разрыв между воображаемым миром мыслителя и реальными условиями его жизни [165], ибо заимствованные идеи были слишком тесно связаны с национальными институтами и политической ситуацией в Западной Европе, чтобы выполнить позитивную функцию в России [166]. А с другой стороны, этот отрыв интеллигенции от реальности еще настойчивее толкал ее в объятия западных доктрин.

Рассмотренная западноцентристская схема решения вопроса об инонациональных влияниях ненаучна в своей основе. Она исходит из заведемо ложных методологических установок, отрицая самое возможность самостоятельного экономического и культурного роста России (как и любой другой «азиатской» страны) без заимствования европейских форм жизни, игнорируя роль материальной основы в зарождении и развитии духовной культуры общества в целом.

---

[163] Pomper Ph. Op. cit., p. 8.

[164] К числу некритически заимствованных, а потому непонятых и даже искаженных теорий некоторые авторы относят марксизм, пытаясь тем самым подтвердить свой тезис о его беспочвенности в России (см., напр.: A Documentary History of Communism from Lenin to Mao, p. XXVII; Wolf B. Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought, p. 185; Szamuely Th. Op. cit., p. 179.

[165] Haimson L. Op. cit., p. 7; см. также: Nahirny V. The Russian Intelligentsia. From Men of Ideas to Men of Convictions.

[166] Raeff M. Op. cit., p. 145.

Трактовка проблемы идейных влияний Запада на русскую общественную мысль лишний раз подтверждает, что общим исходным положением, с позиций которого все без исключения буржуазные авторы пытаются раскрыть не только подоплеку революционных теорий, но и их национальную специфику, является тезис о детерминированности русской истории автократической формой государственной власти, определившей собою характер всех сфер жизни страны. «Не будет преувеличением сказать,— утверждает, например, Г. Сетон-Уотсон,— что с того времени, когда Россия начала борьбу за освобождение от татарского ига... каждое значительное изменение было обязано власти монарха» [167]. Это обстоятельство, согласно их концепциям, и породило специфическое в своей основе общественно-революционное движение, повлияв также и на содержание революционной мысли.

Исходя из заведомо ложного тезиса о том, что революционная интеллигенция совершенно абстрагируется от конкретной исторической действительности своей страны, ее общественных потребностей и, соответственно, от настроений масс [168], буржуазные исследователи приходят к ошибочным выводам относительно основных черт и своеобразия русской революционной мысли. Утверждается прежде всего, что, будучи лишенной внешних источников движения, она оказывается замкнутой в рамках своих надуманных логических конструкций и постепенно приходит к полной утрате способности преодолеть свою сектантскую замкнутость [169].

Вопреки общеизвестным историческим фактам, свидетельствующим о стремлении русских революционных мыслителей разработать свою революционную теорию, опираясь на реальную историческую почву, рассматриваемые авторы утверждают, что радикально настроенная интеллигенция утрачивает не только возможность,

---

[167] Seton-Watson H. The Russian Empire, p. 226; см. также: Haimson L. The Russian Marxism and the Origin of Bolshevism, p. 40.

[168] По мнению А. Гершенкрона, например, «интеллектуальная история» России всегда шла в обозе ее «экономической истории» (Gershencron A. Europe in the Russian Mirror, p. 4).

[169] Charques R. Op. cit., p. 153.

но со временем и самое желание понять направление и задачи исторического развития страны [170]. Она все более убеждается, что лишь абстрактная, выработанная ею программа рационально организованного общества может привести Россию к желанному равенству и свободе [171].

В результате, как считает, например, Б. Вольф, радикальная интеллигенция создает свои собственные идеалы свободы —«свободы от реальности, от практической деятельности, от связи с обществом» [172]. В этом состоянии интеллигенция, по его мнению, полностью избавляется от «каких-либо ограничений в спекуляции и догматизме», обретя в высшей степени безответственный характер [173].

При этом, протестуя против суровых догм официального режима, революционеры, по утверждению буржуазных авторов, сами устанавливают «интеллектуальный деспотизм» и столь же строгую цензуру. «Когда паук доктрины начинает свою работу, живой дух движения затягивается в стальной корсет неизменяемых формул» и исчезает сама возможность действовать для общества,— пишет К. Тидмарш, повторяя в данном случае слова Л. Тихомирова, пытавшегося оправдать свое ренегатство [174]. В такой ситуации поиск революционными мыслителями абстрактных идеалов, изучение и конструирование широких философских схем становятся, по мнению рассматриваемых авторов, смыслом и целью всего их существования. Оказавшись в изоляции, пишет Т. фон Лауэ, русские революционеры «искали утешения в экстремистском видении человеческого счастья» [175].

---

[170] Gershencron A. The Problem of Economic Development in Russian Intellectual History of Nineteenth-century, p. 37, 38.

[171] Bowman H. Intelligentsia in Nineteenth-century Russia, p. 12.

[172] Wolf B. Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought, p. 178.

[173] Wolf B. Op. cit., p. 178; Meyer A. Leninism. Cambridge, 1957, p. 20.

[174] Tidmarsh K. Op. cit., p. 48.

[175] Laue Th. von. Why Lenin? Why Stalin? A Reapraisal of the Russian Revolution. 1900—1930. N. Y., Lippencot, 1964, p. 87.

В ряду других константных характеристик русской революционной общественной мысли едва ли не первостепенное место отводится вере в силу и успех волевых действий во имя реализации абстрактных моральных принципов. Эта вера явилась, по мнению буржуазных авторов, прямым отражением того, что с самого начала определяющую роль в России играли «идеи, вожди, сила, власть» [176].

С. Томпкинс пытается дать этому тезису историческое обоснование. Поскольку, пишет он, существовавший в России порядок всегда опирался лишь на «слепое» насилие, не освещенное теоретическим осмыслением опыта прошлого (правительство никогда не давало себе труда заняться этим), создавалась иллюзия, вводившая в заблуждение неуравновешенные умы, будто потребуется лишь сравнительно небольшое усилие, которого будет достаточно для свержения существовавшего порядка и установления «золотого века». Именно по указанной причине русская радикальная интеллигенция, не имея, по его утверждению, должного опыта и прочных привязанностей к прошлому, которые бы побуждали к осторожным действиям, легко воспринимала революционные идеи, выраженные в наиболее экстремистской форме [177].

В целях доказательства своего вывода Томпкинс не гнушается и откровенной фальсификацией истории. Отрицая общеизвестные факты о попытках русского самодержавия в XIX в. вести борьбу против растущего общественного брожения с помощью идейного оружия — теории «официальной народности», он утверждает, что правящая власть в стране всегда опиралась лишь на силу, не апеллируя никогда к идеологии как обобщенному опыту прошлого, и даже в борьбе с либералами прибегала лишь к насилию или заимствованным из арсенала Западной Европы теориям, имевшим весьма приблизительное отношение к отечественным проблемам [178]. В ре-

---

[176] Daniels R. Lenin and the Russian Revolutionary Tradition, p. 351. Подробнее о взглядах Дэниельса см.: Кузнецов В. Н. Фальсификация истории русской революционной мысли. — Вопросы философии, 1960, № 1, с. 179—180.

[177] Tompkins S. The Russian Intelligentsia, p. 46—48.

[178] Ibid., p. 46.

зультате в стране якобы полностью отсутствовали какие-либо собственные позитивные традиции.

Таким образом, характерная, в представлении американских и английских авторов, для страны гипертрофия роли государства и действенности власти, а отнюдь не конкретная общественно-историческая обстановка явилась детерминантой революционно-демократической идеологии с ее проповедью субъективизма и волюнтаризма.

Все рассуждения буржуазных историков относительно ведущих свойств революционно-демократических теорий нацелены на то, чтобы доказать их элитарный, антидемократический характер. Они пишут, что в стране, которая уже шла чуть ли не семимильными шагами по пути высокого технического и социального прогресса и в которой в силу этого будто бы более популярной была либеральная программа преобразований, революционные теории не могли быть ничем иным, как чисто умозрительными, беспочвенными утопиями.

Мы убеждаемся, что в основе доминирующих в современной буржуазной историографии концепций относительно истоков и своеобразия русской революционно-демократической мысли, так же как и в интерпретации причин формирования самой интеллигенции, лежат веховские трактовки. По сути в них повторяется на разные лады основной тезис А. С. Изгоева о том, что самодержавие настолько «оторвало» интеллигенцию от «реальной жизни и существующих в стране общественных сил», что на всех ее «идеальных порывах и общественных начинаниях» лежала печать «какой-то нежизнеспособности, отвлеченности и несерьезности»[179]. Варьируется в рассмотренных концепциях и мысль Булгакова об «отраженном влиянии» самодержавного полицейского режима на психологию русского интеллигента, его судьбу, душу и миросозерцание[180], а также утверждение Бердяева о том, что вся социальная философия русской ин-

---

[179] Изгоев А. С. Русское общество и революция. М., 1910, с. 20, 21.

[180] Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество. — Вехи, с. 38.

теллигенции есть не что иное, как сплошная, выработанная нашей историей «аберрация сознания» [181].

Это еще раз подтверждает, что труды рассмотренных нами буржуазных авторов, занимающихся историей русской революционной общественной мысли, не отличают ни серьезная забота об объективной истинности своих исследований, ни сознание важности их идейно-методологической четкости.

---

[181] Бердяев Н. А. Указ. соч., с. 20.

Глава III

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ АНГЛИЙСКИМИ И АМЕРИКАНСКИМИ БУРЖУАЗНЫМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

С конца 60-х годов английская и особенно американская буржуазная историография русской революционной интеллигенции и общественной мысли отмечены новым витком активного научного поиска. Это обстоятельство не является случайным. Быстро меняющаяся картина современной жизни, когда рост революционного движения, а также молодежного, становясь неотъемлемым фактором реальности, заставляет буржуазных исследователей и политиков пересматривать свои прежние трактовки феномена революции и революционной интеллигенции.

Напряженная динамика социально-политического развития, своеобразие революционного движения в отдельных странах, обусловленное спецификой их классовой структуры, появление в капиталистических странах разного рода «контркультур» как несомненного выражения оппозиции молодого поколения существующим социальным традициям и институтам [1], настоятельно диктуют необходимость более глубокого осмысления русского революционно-демократического движения. В кругу проблем его истории, как и прежде, особое внимание буржуазных авторов привлекают причины появления и национальное своеобразие интеллигенции, истоки и социальная природа ее общественно-политических теорий.

Эти проблемы со всей настоятельностью возникают перед буржуазными историками также в связи с растущей у них неудовлетворенностью собственной методоло-

[1] Подробнее об этом см.: Давыдов Ю. Н., Родницкая И. Б. Социология контркультуры: Инфантилизм как тип мировосприятия и социальная болезнь. М., 1980.

гией и усиливающимся влиянием советской исторической науки, проявляющимся не только в самом факте признания ими научной значимости работ советских авторов, но и в аргументированной полемике с ними, а также в принятии некоторых содержащихся в работах выводов и наблюдений.

1. Проблема формирования русской революционно-демократической интеллигенции

Отказавшись от вывода о принципиальном национальном своеобразии русской революционной интеллигенции и представив ее в качестве универсального исторического феномена, обусловленного определенной стадией социокультурного развития общества, буржуазные историки пытаются соответственно по-иному осветить причины и условия ее формирования.

В настоящее время трудно, если не невозможно вообще, найти буржуазного исследователя, который бы полностью отрицал значение социально-экономического фактора в появлении революционной интеллигенции, становлении и эволюции ее общественно-политических теорий. Естественно, что тезис о социально-исторической детерминированности возникновения русской революционно-демократической интеллигенции находит все большее число сторонников также среди английских и американских историков. В их среде с новой силой раздаются призывы обратиться к исследованию конкретных социально-исторических условий появления революционной интеллигенции в России, чтобы еще раз (учитывая и события современной истории) попытаться осмыслить победу революции и ее влияние на ход мировой истории не только в настоящем, но и в будущем. Вместе с тем эти призывы отражают стремление отыскать новые методы исторического исследования, складывающиеся на путях междисциплинарных связей, а именно с учетом наблюдений и выводов социологии. Однако поиски новых теоретико-познавательных средств имеют весьма ограниченные пределы и фактически означают лишь очередную попытку обосновать отказ от классового подхода в качестве объективного научного метода исследования, стремление растворить его в рассуждениях о не-

ких абстрактных общенациональных надклассовых факторах, обусловливающих развитие революционной интеллигенции.

С той же настойчивостью, как и прежде, все без исключения исследователи отвергают марксистский метод анализа (понимаемый ими вульгарно-механистически), утверждая, что невозможно дать сколько-нибудь удовлетворительное решение проблемы на основе рассмотрения классовых отношений и взятых в основу их отношений собственности, как это делают марксисты [2]. Авторы уже упоминавшегося труда «Радикализм в современную эпоху» считают, например, что движение радикальной интеллигенции в настоящее время «существенно перечеркивает» линию классовых отношений [3].

Следует оговориться, что некоторые авторы на словах признают зависимость общественных позиций интеллигенции от ее классовой ориентированности, отмечая ее «социальную ангажированность». Однако признания такого рода остаются сугубо формальными, поскольку представление о социальной зависимости интеллигенции в них размыто, лишено своей классовой определенности.

Отталкиваясь от нового определения радикальной интеллигенции, основанного на признании в качестве ведущих ее характеристик черт, свойственных природе творческой деятельности, буржуазные историки пытаются рассмотреть некие «внешние» стимулирующие или ограничивающие их действие факторы. При этом, как и следовало ожидать, обращаются они не к исследованию конкретной общественно-политической ситуации, обусловленной направлением и уровнем социально-экономического развития и соотношением классовых сил, а к некоей не зависящей от позиции классов и классовых конфликтов «политической и культурной обстановке» в стране. Так, по мнению М. Малиа, например, особенность исторических условий в России, определявших рождение интеллигенции и ее общественные позиции, заключалась в том, что имевшиеся здесь политические институты в меньшей степени, чем где бы то ни было,

---

[2] Gleason A. Young Russia. The Genesis of Russian Radicalism in the 1860-s. N. Y., 1980, p. 17.

[3] Radicalism in the Contemporary Age. V. 1. Sources of Contemporary Radicalism. N. Y., 1980, p. 23.

«фильтровали» внутренне присущие интеллигенции профессиональные свойства, делая тем самым «невозможным приспособление ее стремлений в их непосредственной политической форме» к существовавшему общественному строю [4]. Поэтому, считает он, в русской интеллигенции сильнее, чем в интеллигенции какой-либо другой страны, проявлялось негативное отношение к общепринятым ценностям, традициям и институтам [5].

Взрыв суденческих волнений в ряде стран Европы в конце 60-х гг. вызвал у буржуазных идеологов и обществоведов острую потребность в осмыслении этих событий. В ряду многочисленных теорий, призванных объяснить рост молодежного движения, становится модной тенденция подменить классовые конфликты «конфликтом поколений», трактуемым как выражение извечных противоречий между «старым» и «новым». Молодое поколение с присущей ему всегда способностью особенно остро воспринимать общественные проблемы рассматривается как особая «субкультура» или «контркультура» внутри общей системы отдельных национальных культур. Эти понятия охватывают определенный тип мироощущения (включающий элементы социальной критики) и попытки его теоретического осмысления. Однако в целом молодое поколение («контркультура») изображается современными буржуазными социологами как социально автономная группа, отличающаяся от других слоев общества структурным и функциональным своеобразием. Она стремится к неполитическому и даже внесоциальному существованию и в этом стремлении прорывает рамки не только политических, но и социально-философских движений и идеологий [6].

Такой подход к освещению различных молодежных политических течений и групп оказал ощутимое влияние на трактовку радикальных движений прошлого и прежде всего русского революционного демократизма, тем более, что все сильнее утверждается определение радикаль-

---

[4] Malia M. The Intellectualls: Adversary or Clerisy. — Daedalus, 1972, v. 101, N 3, p. 207; Idem. Adulthood Refracted: Russia and Leo Tolstoy. — Daedalus, 1976, v. 105, N 2, p. 173.

[5] Malia M. The Intellectuals: Adversary or Clerisy, p. 24, 25.

[6] Подробнее см.: Социология контркультуры. Критический анализ. М., 1980.

ной интеллигенции как универсального феномена общемирового культурно-исторического развития.

Характерными представляются взгляды М. Конфино. Его рассуждения весьма поучительны в качестве примера напряженных и в такой же мере бесплодных теоретических поисков, свойственных современной буржуазной исторической мысли. Смысл концепции Конфино заключается в том, чтобы представить русское революционно-демократическое движение типичным этапом культурного и интеллектуального мирового развития, полностью лишив его при этом не только классового, но и вообще какого бы то ни было политического смысла.

Отвергая концепции о социальной «отчужденности» русской интеллигенции как несоответствующие его исходным посылкам (он характеризует интеллигенцию как группу, глубоко вовлеченную в решение национальных общественных проблем) и утверждая, что главной целью и смыслом самого ее существования (ее «raison d'etre») было отрицание «старых традиций», Конфино ограничивает эти традиции рамками образования, быта и стиля поведения [7]. Стремление к «новым традициям» рассматривается им как стремление европеизированной интеллигенции к интеллектуальной свободе, которое отнюдь не вело к критике существовавших социальных институтов и было вызвано попытками правительства установить «жесткий контроль» над «импортированными идеями» [8].

В результате согласно утверждению Конфрино русское революционно-демократическое движение было лишь «интеллектуальным бунтом», представлявшим собой своеобразную форму «современного мятежа», отражающим конфликт между двумя «диалектически противоположными» «системами ценностей»: между традиционной властью и иерархией, с одной стороны, равенством, индивидуализмом, секуляризмом и позитивным правом — с другой [9].

Новая система ценностей («контркультура») появля-

---

[7] Confino M. On Intellectuals and Intellectual Traditions in Eighteenth and Nineteenth-century Russia. — Daedalus, 1972, v. 101, N 2, p. 119—121.

[8] Ibid., p. 122, 123.

[9] Ibid., p. 131.

ется, по его мнению, в процессе эволюции всякого общества, независимо от его социально-политического строя. Она возникает как закономерная логическая ступень культурной эволюции общества и роста образованности молодого поколения, что проявляется в принятии им определенных «абстрактных теоретических компонентов» (сциентизма, позитивизма, антиэтатизма) в качестве «последнего крика» интеллектуальной моды [10].

Интересно отметить при этом, что, не будучи в состоянии совершенно замолчать социально-политическую программу декабристов, Конфино полагает, будто их нельзя отнести к революционной интеллигенции, поскольку они были военными и находились на государственной службе [11]. Этот аргумент особенно любопытен, поскольку позволяет уточнить взгляды ученого. Он свидетельствует, во-первых, о принципиальном нежелании исследователя связать революционное движение с требованиями радикальных социальных преобразований, во-вторых, является доказательством непоследовательности его трактовки революционной интеллигенции как таковой. Нельзя не видеть, что в данном конкретном случае автор отдает определенную дань интерпретации интеллигенции как социально отчужденной группы.

Оценивая русское революционно-демократическое движение как «интеллектуальный» мятеж, Конфино логически приходит к отрицанию любых попыток объяснить формирование революционной интеллигенции демократизацией ее социального состава за счет притока разночинцев. Этапы становления революционно-демократического движения (30—40-е и 60—70-е гг.) он трактует как две разных фазы в развитии конфликта названных духовных ценностей [12]. В его трактовке общественные деятели 30—40-х гг. были всего лишь «людьми идей», взгляды которых не имели какого-либо общественного звучания, поскольку они рассматривали интеллектуальную деятельность как нечто свободное и автономное, совершенно не нуждающееся во «внешнем обосновании» [13]. Что же касается революционеров 60-х гг., то

---

[10] Ibid., p. 129.
[11] Ibid., p. 125.
[12] Ibid., p. 24, 127, 128.
[13] Ibid., p. 126—128.

они, по его мнению, отличались от своих предшественников только большей действенностью в своем сугубо личностном, индивидуальном мятеже против старых общественных традиций, мешавших интеллектуальной свободе [14]. В итоге, утверждает исследователь, оба поколения революционных деятелей были связаны общностью не зависящих от социального строя идей, которых оказалось вполне достаточно, чтобы создать между ними «идеологическую преемственность, социологическую генеалогию и психологическую филиацию» [15].

Таким образом, революционный демократизм, в трактовке Конфино, имел характер культурного феномена, а не политического движения. Причины, вызвавшие его к жизни, были таковы, что в принципе оно не могло быть замкнуто в рамках социально-политических задач.

Своеобразным развитием концепции М. Конфино является уже называвшаяся работа Д. Броуэра «Воспитание нигилистов. Система образования и радикализм в царской России», в которой ставится задача рассмотреть исторические условия и факторы, вызвавшие появление русской революционно-демократической интеллигенции. Говоря словами самого автора, он видит свою цель в том, чтобы выявить «исторические силы» и «институционные характеристики» процесса формирования радикального движения [16]. Уже одно то обстоятельство, что автор отрицает сколько-нибудь значительную роль социального фактора в появлении движения и пытается отыскать его причины в специфике системы образования, доказывает внутреннюю близость его взглядов точке зрения Конфино.

По мнению Броуэра, истоки революционного демократизма как особой «субкультуры» [17] коренились в условиях существовавшей в стране системы образования. Основанная по образцу прусской и австрийской моделей, эта система создавала искусственные трудности для

---

[14] Ibid., p. 130, 133.

[15] Ibid., p. 128.

[16] Brouer D. Training the Nihilists. Education and Radicalism in Tsarist Russia. London, N. Y., 1975, p. 18, 170.

[17] Броуэр, по его собственному признанию, «предпочитает» этот термин как «политически нейтральный» терминам «контркультура» и «контрэлита» (Ibid., p. 35, 36).

обучающихся. Знания давались ценой огромных усилий и «механического запоминания». Это обстоятельство с самого начала становилось источником оппозиционных настроений молодежи, усугублявшихся стараниями иностранных учителей, которые внушали своим воспитанникам презрение к родному языку и неуважение к русским национальным обычаям [18]. Отмеченные факторы дополнялись, как считает Броуэр, усилиями правительства, преследовавшего цель воспитать у молодежи активное чувство гражданственности и тем самым способствовавшего формированию в студенческой среде особого понимания чести, элитности и «принципов равенства». В результате, как следствие всего этого, у нее появляется «своеобразное отношение к жизни» [19].

Отмеченные качества (а отнюдь не чувство политического протеста) и питали, по утверждению Броуэра, оппозицию молодежи к административному гнету сначала в рамках образовательных учреждений, а затем и в общегосударственном масштабе.

Таким образом, как и Конфино, Броуэр ставит своей целью доказать, что импульсы, вызвавшие к жизни движение радикальной молодежи в России, были таковы, что оно не могло превратиться в движение политическое. Лишая революционный демократизм социального содержания и политического смысла, историк тем самым явно отходит назад от своих позиций в более ранних работах, где он пытался обратиться к социальному анализу. Кроме того, его построения интересны и тем, что они в конечном счете приводят к традиционному в буржуазной историографии заключению, против которого он возражает в начале своей книги,— заключению об «отчужденности» молодежи от господствовавших в стране институтов и традиций [20].

Эти примеры убеждают, что попытки нового подхода к освещению причин появления революционной интеллигенции, предпринятые с учетом основных посылок и выводов социологов, также не приводят буржуазную историографию к правильному решению проблемы.

---

[18] Ibid., p. 23, 35, 36, 127.
[19] Ibid., p. 121, 122, 127, 128.
[20] Ibid., p. 24, 35—36, 127, 128.

Вместе с тем следует отметить, что в отдельных работах, посвященных исследованию конкретных сюжетов из истории революционно-демократического движения, не требующих достаточно развернутых ответов на вопрос о его причинах, авторы приходят к правильным наблюдениям и выводам, нередко прямо заимствуя их из работ советских авторов (хотя, как правило, без ссылок на них). Показательной в этом плане является сравнительно недавно изданная на английском языке работа преподавателя Гентского университета (Бельгия) К. де Мэгд-Соеп, в которой анализируется женское движение в России в 60-е гг. [21].

Рассматривая борьбу русских женщин за эмансипацию как составную часть революционно-демократического движения, исследовательница говорит об объективной обусловленности стремления революционных демократов к «радикальной трансформации» общественного устройства страны. В числе факторов, стимулировавших это движение, она называет прежде всего поражение России в Крымской войне и крепостничество, тормозившее ее поступательное развитие [22].

Подобного рода правильные заключения и догадки относительно происхождения русской революционной интеллигенции связаны непосредственно с трактовкой ее, а следовательно, и всего революционно-демократического движения как «типичной фазы» мирового процесса культурного развития. Историко-сравнительный подход, заключавшийся уже в самом факте признания интеллигенции универсальным общественно-историческим феноменом, сделал возможным хронологически связать появление интеллигенции с социальной динамикой, обусловленной процессом капиталистического развития. К. фон Бейме, автор уже упоминавшейся статьи об интеллигенции в энциклопедии «Марксизм, коммунизм и западное общество», прямо утверждает, например, что

---

[21] De Maegd-Soep K. The Emancipation of Women in Russian Literature and Society. A Contribution to the Knowledge of Russian Society during the 1860-s. Ghent State University, 1978. (Подробнее о книге см.: Волк С. С., Тишкин Г. А. Зарубежные авторы о женском движении и семье в России XIX — начала XX вв. — Вопросы истории, 1981, № 11, с. 164—166).

[22] De Maegd-Soep K. Op. cit., p. 27.

возникновение интеллигенции «тесно связано с развитием капитализма и буржуазии» и что гуманисты были «первой влиятельной группой, обнаружившей целый ряд характерных черт, типичных для интеллигенции»[23].

Однако, фиксируя появление интеллигенции в качестве нового социального слоя, буржуазные историки лишь интуитивно улавливают зависимость ее происхождения от процесса капиталистического развития, обусловленных им экономических сдвигов и социальных перемен. Эта зависимость не осознается во всей ее динамической сложности и глубине. Они по-прежнему последовательно игнорируют то обстоятельство, что появление интеллигенции и ее место в обществе детерминированы не просто определенными культурными сдвигами, а что это обусловлено, как и все другие перемены социального плана, вызванные к жизни капиталистическим развитием, изменениями в отношениях собственности и в характере производства, представлявшими собой не только следствие, но и проявление этого развития. Они-то и обусловливают социальное положение интеллигенции, ее общественную роль и значение.

Что касается русской интеллигенции, то, возникнув на стадии разложения феодального строя и формирования капиталистических отношений, она увеличивалась численно по мере роста бюрократизации государственного аппарата, развития и усложнения всего общественного организма страны. Лишенная собственности, она не являлась экономически самостоятельным классом в социальной структуре общества и поэтому не представляла собой, как подчеркивал В. И. Ленин, «никакой *самостоятельной* политической силы»[24]. Ее социальная ориентация определяется соотношением классов и классовой борьбой в каждый данный конкретно-исторический отрезок времени, а ее политическая дееспособность и интеллектуальный потенциал — условиями жизни и социальной активностью народа.

В качестве наемных работников умственного труда в условиях роста буржуазной эксплуатации русская интеллигенция постепенно утрачивает свое привилегиро-

---

[23] Marxism, Communism, and Western Society. A. Comparative Enciclopedia. N. Y., 1972, v. 4, p. 302.

[24] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 14, с. 191.

ванное положение интеллектуальной элиты, попадая в зависимость от господствующих классов [25]. Ее знания и творческие способности оказываются все более подчиненными самодержавно-помещичьему государству и экономически крепнувшей буржуазии. Интеллигенция лишается того, что прежде отличало ее от других слоев общества, составляя предмет ее гордости и основу самоопределения — относительной независимости интеллектуального труда. Это обстоятельство сближало интеллигенцию с эксплуатируемыми классами, создавало почву для формирования демократического мировоззрения у части ее представителей (прежде всего разночинцев), делая их выразителями народных устремлений и определяя таким образом классовый смысл их общественных позиций.

В условиях России, отличавшейся необычайной остротой и сложным переплетением социальных противоречий, когда подавляющая масса населения — крестьянство — страдала не только от пережитков феодально-крепостнических отношений, но и от развивающегося капитализма, передовая интеллигенция более, чем интеллигенция какой-либо другой страны, имела основание для ориентации на народную демократию. Это придавало особую решительность и остроту ее политическим устремлениям, обусловливая их революционный характер.

Неспособность буржуазных историков понять социальную природу интеллигенции логически приводит их к поискам причин ее демократических позиций и идеалов вне социальной сферы. Они усматриваются в психологии интеллигенции или ее творческой деятельности, направленность и содержание которой определялись, по мнению этих историков, новыми ценностными ориентациями молодого поколения, обусловленными общим поступательным развитием науки и культуры.

2. Психоаналитические концепции причин революционно-демократического движения

Наиболее реакционное направление в трактовке буржуазными авторами причин революционно-демократи-

[25] Подробнее см.: Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М., 1977, с. 19.

тического движения представлено психоаналитическими концепциями, занявшими в настоящее время важное место в арсенале средств наступления западной историографии на марксистскую теорию социальной революции.

Сложившись на рубеже XIX—XX столетий как своеобразное теоретико-методологическое направление, ставящее задачей выявление роли психики в деятельности личности, психоанализ очень скоро проник в целый ряд наук о человеке, в том числе и в историю, где он развивался особенно сильно в последние два десятилетия [26].

Интерес буржуазных историков к психоанализу не случаен. Обнаженность внутренне присущих современному капиталистическому обществу жестокости и насилия порождает в людях пессимизм и неуверенность в своем будущем, вселяет страх перед некими якобы неосознаваемыми и потому неуправляемыми антисоциальными силами, обостряя вместе с тем интерес к внутренним, скрытым мотивам поведения человека. Все это побуждает к исследованию потаенных сторон человеческой психики. Обращаясь к психоанализу, историки надеются проникнуть дальше «привычного уровня осознанных мотивов поведения», чтобы проанализировать его глубинные, не осознаваемые самой личностью причины [27].

Исходя из признания единства осознанного и подсознательного в человеческой психике, психоанализ обладает возможностями действительно научного объективного анализа исследуемых проблем. В частности, он создает условия для углубленного понимания сути индивидуального и его проявления в социальных процессах и событиях [28]. Однако возможности эти остаются в буржуазной историографии нереализованными.

Все еще не являясь четко разработанной научной концепцией со сложившимися понятиями и определившейся предметной областью приложения, психоанализ

---

[26] См.: Гаджиев К. С., Сивачев Н. В. Проблемы междисциплинарного подхода и «новой научной» истории в современной американской буржуазной историографии. — В сб.: Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1978, вып. 2, с. 110—163.

[27] Izenberg G. Psychohistory and Intellectual History. — History and Theory, 1975, v. XIV, N 2, p. 140.

[28] Подробнее см.: Клеман Б., Брюно П., Сэв Л. Марксистская критика психоанализа. М., 1976, с. 45.

представлен разного рода течениями и модификациями даже своих исходных положений, что создает благоприятную почву для проникновения в него и оказания большого влияния идеологических наслоений. Наиболее явственно это обнаруживается в истории в силу уже самой природы ее как науки, призванной формировать общественное сознание. Идеологические напластования фактически выполняют здесь роль философско-методологической базы психоанализа, нередко при этом не просто искажая, но и прямо подменяя собою научное исследование.

Особое внимание приверженцев психоанализа привлекает деятельность исторических личностей в переломные моменты истории и прежде всего в периоды революций или попыток их свершения. Обращение к психике человека в качестве фактора, определяющего его функциональную роль, не только создает дополнительную возможность ухода от анализа социальных явлений в объяснении мотивов революционной деятельности, но и позволяет изображать саму эту деятельность как следствие и проявление скрытых иррациональных сторон личности — самых темных, низменных (почти на уровне животных) инстинктов, кроющихся-де в самой природе психики человека и в обычное время сдерживаемых законами, общественными институтами и общепринятыми обыденными условностями. Это наилучшим образом отвечает решению главной идеологической задачи буржуазных обществоведов — дискредитировать революцию как метод решения социальных проблем и как форму общественного прогресса.

Ставя своей целью преодолеть «интуитивный» уровень в рассмотрении вопроса об отношении личности и социальной среды [29], «психоисторики» отнюдь не пытаются полностью заменить историю анализом лишь психики индивида, ибо полагают невозможным свести исторические процессы и события к действию какой-либо одной причины. И все же обращение к рассмотрению психологических мотивов действий личности при условии игнорирования ее общественно-исторического опы-

---

[29] Pois R. Historicism, Marxism, and Psychohistory: Three Approaches to the Problem of Historical Individuality. — The Social Science Journal, 1976, v. 13, N 3, p. 77.

та в качестве главной детерминанты этих мотивов с логической неустранимостью приводит к фиксации внимания на роли подсознательного. Социальный же опыт рассматривается в лучшем случае как фактор, коррегирующий психическую деятельность человека, но не определяющий ее [30].

Как и следовало ожидать, пристальный интерес «психоисториков» вызывают участники русского революционно-демократического движения. Он подогревается давно утвердившимся в буржуазной историографии и еще не изжитым полностью представлением о русской интеллигенции как своеобразной группе, особо приверженной к насильственному революционному способу социального действия. Кроме того, признание многими из рассматриваемых авторов наличия в русском революционном движении выраженных мессианских черт, несомненно, подкрепляет интерес «психоисториков» к его прошлому, поскольку мессианство увязывается ими с самолюбованием, являющимся, по Фрейду, одним из основных свойств биопсихической природы человека.

Нельзя не отметить также и того обстоятельства, что психоаналитический подход к трактовке русского революционного демократизма (причин его возникновения и основных сущностных черт) нашел для себя здесь уже подготовленную почву в веховской концепции. Ее исходным положением являлся тезис о расщепленном сознании русской революционной интелигенции, полном высвобождении его из-под контроля воли, а как следствие этого — признание глубоких патологических изменений в психике и интеллекте революционных деятелей [31]. И наконец, привлечению внимания приверженцев психоанализа к истории русской революционной демократии в немалой степени способствовал долгое время безраздельно господствовавший в современной исторической литературе Запада тезис о чувстве отчужденности как главном психологическом импульсе, обусловившем не только направленность и активность социальной деятельности русской интеллигенции, но также особую ос-

---

[30] Подробнее см.: Клеман Б., Брюно П., Сэв Л. Указ. соч., с. 204.

[31] См., напр.: Гершензон М. Творческое самопознание. — Вехи, 3-е изд. Спб, 1909, с. 79, 81, 89.

троту и драматизм ее внутренних конфликтов и пережи-ваний.

Буржуазные авторы обращаются главным образом к рассмотрению тех событий и ситуативных моментов которые, по их мнению, могли оказать деформирующее влияние на психику человека, культивируя в нем жестокость и стремление к насилию. Революционные действия трактуются ими как проявление «эмоциональной реакции», а революционные теории — как попытки «рационализировать» свои «личные страсти», облечь их в «научные одежды». Так, в частности, оценивает марксизм Ю. Мэтвин, утверждающий, что Маркс создал свою теорию, движимый «ненавистью» и «честолюбием» [32].

Аналогичным образом английские и американские «психоисторики» (Р. Хейр, Л. Хэймсон, А. Улам, Э. Лэмперт) пытаются осветить истоки социальных воззрений и мотивы деятельности русских революционных демократов. В их изображении Н. А. Ишутин, И. А. Худяков Д. В. Каракозов, С. Г. Нечаев, Н. Г. Чернышевский М. А. Бакунин и др. были «явными психопатами», обнаружившими очевидные признаки «умственной нестабильности», личностями, поведение которых вообще не может быть объяснено в рамках рационального.

Особенно пристальное внимание авторов привлекает фигура Нечаева. Его революционный фанатизм, доходивший до отрицания элементарных норм этики и морали, с давних пор стал объектом разного рода психоаналитических упражнений. «Забыв» общеизвестный факт резко отрицательного отношения к «нечаевщине» в кругах русской революционной демократии, «психоисторики» пытаются изобразить ее явлением не только типичным для русского революционного движения в целом но и «единственным своего рода в современной истории насилия» [33]. В данном случае, как и во многих других, искажая в угоду своим предвзятым выводам и схемам действительные исторические факты (в том числе и события современной политической истории), буржуазные авторы пытаются в очередной раз дискредитировать русское

[32] Methvin E. The Rise of Radicalism. The Social Psychology of Messianic Extremism. Arlington House, 1973, p. 181.

[33] Ulam A. In the Name of the People. N. Y., 1977, p. 157.

революционное движение, его истинные цели, теорию и практику борьбы.

В свете сказанного становится понятной главная причина того устойчивого интереса, который они, особенно приверженцы «психоистории», неизменно проявляют к личности Нечаева. Они изображают Нечаева, как и целый ряд других революционных деятелей 60-х гг., «очевидным психопатом», движимым «болезненной ненавистью» ко всему и вся [34].

Не менее часто сторонники психоанализа обращаются также к истории жизни и деятельности М. А. Бакунина, чья необычайно сильная, эксцентричная натура всегда привлекала внимание сначала своих современников, затем историков. Первым, кто обратился к изучению этой яркой и самобытной личности, был Э. Карр. Исследователь либерально-объективистского направления Карр едва ли может быть отнесен к числу последователей «психоистории». И тем не менее влияние традиционного в буржуазной историографии интереса к человеку как основному «объекту исторического исследования» [35] и неизбежная в рамках буржуазной методологии истории гипертрофия внимания к психической стороне человеческой деятельности обусловили в конечном счете психоаналитический уклон исходных позиций исследования Карра о Бакунине. В оценке историка личность Бакунина являла собой один из тех феноменов, которые не могут быть объяснены в пределах рационального. «Болезненные амбиции» революционера, его «метания» как в теоретической, так и практической сферах деятельности были, с точки зрения Карра, лишь следствием и проявлением особенностей психики, обусловленных врожденными психофизиологическими комплексами и семейным воспитанием [36].

В более детализированной и в то же время обобщенной форме эта оценка личности Бакунина дана в работах ряда других авторов. В частности, Р. Хэйр полага-

---

[34] Ulam A. Op. cit., p. 142, 143; Methvin E. Op. cit., p. 6.

[35] См.: Могильницкий Б. Г. К вопросу о понимании истории в современной буржуазной литературе. — В сб.: Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1977, вып. 12, с. 22.

[36] Carr E. Michael Bacunin. N. Y., 1961, p. 150.

ет, что вследствие выраженного своеобразия психофизиологической натуры Бакунина свойственная русской интеллигенции «диссоциация личности с реальным миром» приобрела у него особенно гипертрофированные размеры [37]. Л. Хэймсон изображает Бакунина «авантюристом» и «политическим шарлатаном», «создавшим легенду о собственной храбрости». Он пишет, что его анархистские взгляды и необузданное бунтарство против любой формы власти, олицетворявшей собою социальный мир и порядок, не могут быть объяснены в рациональных терминах [38]. Причины столь выраженного своеобразия личности Бакунина эти исследователи, как и Карр, усматривают в условиях воспитания революционера в детские и юношеские годы. Деспотический характер матери, мелочный, навязчивый контроль и регламентация в военном училище, где Бакунин провел почти пять лет, определили, по их мнению, особенности психического склада его натуры, выразившиеся в ничем не сдерживаемом, патологическом стремлении к некоей химерической, неограниченной личной свободе [39].

Итак, в патологии ума и психики кроются, по мнению «психоисториков», основные причины обращения русских демократов к революционной борьбе. Объяснение же самим патологическим отклонениям в психике революционных личностей они пытаются отыскать в условиях воспитания и формирования их в раннем возрасте. При этом во внимание берется отнюдь не вся совокупность опыта ребенка, полученного из наблюдений окружающей социальной среды, но, как правило, опыт, выведенный лишь из какого-либо одного, в лучшем случае нескольких событий, определивших подсознание, а следовательно, и психологический тип формирующейся личности, обусловивший затем весь дальнейший жизненный путь уже взрослого человека. Так, например, Ю. Мэтвин, оговариваясь, что он «ничего не знает» о «ранней жизни» Нечаева, считает тем не менее, что одного известного случая наказания его в детские годы отцом за не-

---

[37] Hare R. Portraits of Russian Personalities between Reform and Revolution. N. Y., 1959, p. 20, 21, 34.

[38] Haimson L. The Russian Marxism and the Origin of Bolshevism. Cambridge, 1955, p. 7, 8.

[39] Ibidem.

произвольно совершенный проступок вполне достаточно, чтобы оценить его как «поворотный», обусловивший всю дальнейшую революционную карьеру Нечаева [40]. Подобным же образом Мэтвин объясняет и истоки социально-политических воззрений Н. Г. Чернышевского, особо выделяя чувство «элитности» и «манию величия» в качестве черт, определяющих взгляды и деятельность великого русского мыслителя. Он выводит их лишь из опыта семинарского образования [41].

Откровенно спекулятивные, идеологически нацеленные попытки «психоисториков» объяснить революционную деятельность исходя только из отдельных фактов ранней биографии революционеров вызывают возражения у самих приверженцев психоанализа [42], поскольку такого рода исследования противоречат заложенным в психоанализе тенденциям научного познания духовной жизни человека, рождая новые вопросы, ответы на которые не могут быть найдены в рамках «психоистории». И хотя критика подобных психоаналитических трудов со стороны самих буржуазных авторов продиктована прежде всего стремлением к «чистоте» психоанализа, она заставляет его приверженцев совершенствовать свой метод, проявляя, в частности, более серьезное внимание к разработке его теоретических основ.

Все чаще и настойчивее подчеркиваются познавательные возможности психоанализа в качестве единственного метода исторического исследования, способного решить вечную проблему взаимодействия индивидуального и общего, личности и социальной среды, преодолев традиционный разрыв между ними [43]. Это обстоятельство и озабоченность реальными жизненными вопросами заставляют исследователей искать более приближенные к адекватному освещению действительности «сбалансированные» трактовки.

Существенную роль при этом играет изменившийся в буржуазной социологии взгляд на революцию, которая рассматривается уже не как «историческая анома-

---

[40] Methvin E. Op. cit., p. 7.
[41] Ibid., p. 187.
[42] Izenberg G. Op. cit., p. 139.
[43] Подробнее см.: Pois R. Historicism, Marxism, and Psychohistory, p. 83, 87, 90.

лия» или случайный в жизни общества разрыв социальных связей, но как один из методов общеисторического процесса модернизации (метод, хотя и дорогостоящий и потому нежелательный, но объяснимый и даже правомерный в определенных конкретно-исторических условиях). Характеристика революционеров как патоневротических личностей, движимых лишь наиболее низменными подсознательными импульсами, подавляющими их интеллект и определяющими поведение, уже не соотносится с новым подходом к интерпретации революции.

Что касается истории русского революционного движения, то здесь стремление «психоисториков» к совершенствованию своего метода исследования находит дополнительный стимул в отказе от прежних трактовок революционной интеллигенции как исключительно национального феномена. Появляется тенденция глубже осмыслить сущностные черты психики революционной личности с учетом ее социального опыта. Это приводит к признанию значительной роли сознательного в мотивации революционной деятельности. Так, в частности, ряд историков (Н. Перейра, А. Мастерс, Д. Харди, Э. Актон) интерпретируют сейчас причины обращения передовых представителей русской демократии к революционной борьбе.

При этом не просто учитывается, но даже особо подчеркивается влияние социокультурной среды на подсознание всякой исторической личности [44]. Утверждается, что биопсихическая натура человека не вытесняет интеллект, но функционирует в сбалансированной с ним форме, беря верх лишь в определенных конкретно-исторических условиях, когда личность в силу ряда объективных причин утрачивает способность адекватно осмыслить сложившуюся ситуацию и правильно оценить свою собственную роль в обществе. Под этим углом зрения «психоистории» оценивают причины обращения представителей русской революционной демократии к революционной борьбе.

---

[44] В этом состоит основное отличие современных новейших неофрейдистских направлений от ортодоксального фрейдизма, обосновывающего тезис о врожденном характере подсознательного (см.: Подопригорёнко С. Проблемы «психоистории» в западногерманской литературе. — В сб.: Материалы региональной научно-практической конференции. Томск, 1980, с. 113).

Учитывая новейшие социологические трактовки русской революционной интеллигенции как универсального исторического феномена, возникшего на определенной стадии социокультурного развития, они рисуют революционеров-демократов деятелями, движимыми глубокой верой в конструктивные силы науки и убежденностью в возможности «рациональной организации» общества. Соответственно этому существенно пересматривается психологический облик революционной личности. Признается, что она неординарна, сложна, импульсивна, но всегда талантлива и способна к глубокому проникновению в смысл исторических событий. Мотивы ее действий всегда гуманны и высоконравственны. Однако объективные обстоятельства (единоборство с жестоким и мстительным миром) приводят к нарушению баланса в соотношении сил интеллекта и подсознания. Последнее берет верх. В результате личность, стремясь реализовать свои гуманные социальные идеалы, прибегает к ошибочным негуманным, насильственным средствам борьбы.

Теоретически этот вывод формулирует, в частности, американский историк Н. Перейра [45]. Анализируя взгляды и деятельность Н. Г. Чернышевского, он рисует великого русского мыслителя деятелем, глубоко вобравшим в себя и отразившим специфические черты своей эпохи. Типичный представитель передовой русской интеллигенции середины XIX в., нашедший в науке единственно доступную себе сферу деятельности и потому погрузившийся в нее с особой страстью и энергией, Чернышевский, в изображении Перейры, в силу своеобразных обстоятельств ранних лет своей жизни наиболее рельефно и полно воплотил присущую русской интеллигенции веру в возможность построения «рационального», теоретически обоснованного общества.

«Одинокое детство» в условиях высоконравственной и интеллектуальной атмосферы семьи Чернышевских, сильная до болезненности любовь и привязанность матери, а также глубокая религиозность и напряженная умственная работа одаренного мальчика — все это привело к тому, что уже в ранние годы в Чернышевском-де были заложены те интеллектуальные и психические ос-

[45] Pereira N. The Thought and Teaching of N. G. Chernyshevsky. Mouton, The Hague-Paris, 1975.

новы, которые определили облик революционера-мыслителя в пору его зрелости. Чувство справедливости, укоренившееся в нем в результате усвоения учения христианской церкви, и не по годам развитая ученость, которая не могла быть легко достигнута, как и не могла остаться без последствий, обусловили в нем, по мнению Перейры, убежденность в собственном моральном и интеллектуальном превосходстве.

Эти качества развились в Чернышевском особенно мощно и сильно, явившись своеобразной «психологической защитой» от присущего ему с детства чувства неуверенности и застенчивости как следствий явной задержки эмоционального развития (феномен «старого-молодого» человека) [46]. С одной стороны, «интеллектуальная воинственность» и «претенциозность» и даже «окрашенное паранойей» бахвальство, с другой же — полное отсутствие «социабельности», как если бы мир оканчивался на грани «собственного видения», а все то, что было за его пределами, выглядело «туманным» и «потенциально враждебным» [47].

Столь противоречивые свойства натуры обусловили в конечном счете, полагает историк, специфику Чернышевского как революционного мыслителя, в котором «чувство отчужденности от людей» оказалось прямо пропорциональным силе чувства «сопричастности с абстрактным человечеством» [48], и в этом Чернышевский был типичной фигурой поколения 60-х гг., являя собой «микрокосм» русской интеллектуальной жизни в целом. Однако, оговаривается исследователь, Чернышевского, как и разночинцев вообще, отнюдь нельзя считать мизантропом, лишь скрывающим под маской социальной философии любви свою поглощающую ненависть ко всему [49].

Ключ к разгадке его личности, как и всего поколения революционеров-шестидесятников, следует искать, по мнению автора, «во внутренней зависимости социального и психологического факторов», механизм взаимодействия которых довольно прост. Неизбежное в соци-

---

[46] Ibid., p. 15, 20, 21, 24.
[47] Ibid., p. 94.
[48] Ibid., p. 95.
[49] Ibid., p. 108.

альной борьбе нарушение общепринятых норм и столь же неизбежное последующее осуждение действий участников этой борьбы со стороны общества в добавление к несправедливым гонениям властей на этих и без того необычайно чувствительных личностей, еще более укрепляло в них психологическую установку к мятежу [50]. В результате, утверждает Перейра, история русской революционной демократии явила собой «классический пример максимы», состоявшей в том, что чем ужаснее реальность, тем «грандиознее и разрушительнее панацея», ибо в революционной борьбе в конечном счете всегда происходит перевес психологических (биопсихических) сил над интеллектом [51].

В данном случае мы сталкиваемся с таким примером «психоисторических» построений, когда автор пытается уравновесить действие «внутренних» и «внешних» факторов, дополняя бессознательные психологические импульсы осознанными мотивами поведения революционера. Однако поскольку теоретическое осмысление революционерами социальных проблем изображается слишком абстрактным, оторванным от реальной почвы, в этих построениях подсознательные мотивы поведения одерживают верх над сознательной деятельностью, определяя в итоге ее смысл и направленность.

Подобного рода рассуждения есть не более чем разновидность «методологического плюрализма», в рамках которого, как отмечают сами буржуазные исследователи, автор может давать одно объяснение, не исключая в то же время, а в случае необходимости даже используя и другое [52].

В таком же плане интерпретируются истоки революционных воззрений и причины деятельности М. А. Бакунина английским историком А. Мастерсом [53]. Политическое кредо автора, определившее его подход к объекту своего исследования, вполне отчетливо проявляется в рассуждениях о содержании понятия «анархия». Трактуя этот термин как синоним неограниченной политической свободы, Мастерс разделяет убеждение тех, кто

---

[50] Ibidem.
[51] Ibid., p. 104.
[52] Izenberg G. Op. cit., p. 140.
[53] Masters A. Bacunin the Father of Anarchism. London, 1974.

считает анархизм целью «самоотверженных» и «искренних гуманистов». К числу последних он относит не только «новых левых», выступающих под девизом бакунинских строк «Страсть к разрушению есть в то же время созидательная страсть», но и всех тех, кто не приемлет «авторитарную», по его мнению, марксистскую идеологию. Естественно в этой связи, что авторская концепция окрашена выраженной симпатией к Бакунину, который рисуется исключительно яркой индивидуальностью, наделенной особой «идейной чистотой» и благородством убеждений.

Анализируя причины, побудившие Бакунина к революционной деятельности, Мастерс в типичной для «психоисторика» манере обращается прежде всего к условиям жизни революционера в детские годы, которые-де определили его психический тип. Однако рассуждения Мастерса своеобразны. Это своеобразие заключается в том, что он подчеркивает главным образом позитивное влияние условий детского воспитания на формирование будущего революционера.

Высокодуховная атмосфера Премухина (родового гнезда семьи Бакуниных), царивший здесь культ музыки и поэзии («Мы родились в России, но под небом Италии»,— скажет позже брат Павел), глубоко укоренившаяся привычка к аналитическим дискуссиям, в которых участвовали часто гостившие здесь выдающиеся деятели русской литературы и искусства, воспитали в его обитателях сильную тягу к прекрасному, возвышенному. Вместе с тем деспотизм матери и действия отца, человека широко образованного и гуманного, но в то же время типичного русского барина, ценившего превыше всего материальное благополучие своих детей и отнюдь не всегда считавшегося при этом с их влечениями и чувствами, заставили Бакунина решительно восстать против докучливой родительской опеки. Физиологические особенности личности Бакунина (огромная энергия и сексуальная неудовлетворенность) еще более усилили заложенный в нем с детства «инстинкт свободы», который превратился во всепоглощающую страсть, определившую собою всю последующую деятельность революционера. Начав свою революционную карьеру дома, «семейный освободитель», пишет автор, вскоре уже был готов шагнуть за его пределы, чтобы

использовать свою «разрушительную тактику» в более широких масштабах и с большим эффектом [54]. Присущее русской интеллигенции влечение к интеллектуальным поискам в сочетании с личностными чертами характера привели Бакунина к тому, что он уже не мог довольствоваться относительными истинами. Выраженное стремление к «абсолюту» спасло его от бесплодных абстрактных умствований и спекулятивных действий, выведя на открытую дорогу борьбы за идеалы анархизма [55].

В исследовании Мастерса, как и в других, подобных ему, не остается места для действительно научного, социального анализа генезиса революционных воззрений и практики Бакунина. В авторском освещении революционер со свойственной ему «внутренней простотой» выбирает социальную ориентацию в своей политической деятельности произвольно, а если и испытывает влияние социальной среды, то лишь той, которая вследствие лучшего знакомства с условиями ее жизни вызывает в нем больше сочувствия и симпатий [56].

Психоаналитический подход Мастерса отчетливо проявляется также в трактовке всегда привлекавшего пристальное внимание буржуазных авторов вопроса о взаимоотношениях Бакунина и Маркса. Их характер освещается в традиционной для буржуазной историографии манере: острая идеологическая борьба между ними сводится лишь к соперничеству за руководство международным революционным движением и представляется обусловленной в своем содержании сугубо личностными чертами. Если «тщеславный», «мстительный» и «педантичный», в изображении Мастерса, Маркс был «централистом», «авторитаристом» и сторонником государственности, то человек «широкой души» и «открытого ума», каким рисуется Бакунин, должен был стать и стал приверженцем «федерализма», «свободы» и полного уничтожения государственности [57].

Естественно, что идейные и организационные разногласия между Марксом и Бакуниным оцениваются автором как «чисто силовая борьба», а исход ее трактуется

---

[54] Ibid., p. 7, 8, 14, 38.
[55] Ibid., p. 53—54.
[56] Ibid., p. 146.
[57] Ibid., 193.

не как следствие самой логики развития международного революционного движения, закономерно приведшего к победе марксистского направления над разного рода мелкобуржуазным революционаризмом, но в полном противоречии с фактами — единственно как результат более решительных действий энергичного Маркса, якобы не гнушавшегося никакими средствами в борьбе с Бакуниным и бакунистами [58].

Этот вывод, как и все другие, содержащиеся в работе Мастерса, демонстрирует научную несостоятельность метода психоанализа в истории, замкнутого изучением индивидуальной психической структуры. И все же работа Мастерса, как и Перейры, интересна изложенной в ней новой концепцией революционной личности, концепцией, в которой нет одномерного ее определения. Эта личность противоречива, в чем-то даже патологична, но всегда талантлива и гуманна. Она не боится вступить в единоборство с внешним миром и обстоятельствами во имя реализации своих высоконравственных идеалов. Но, как правило, методы ее действий неоправданны и ошибочны.

Заслуживает внимания с точки зрения выявления новых тенденций в «психоистории» и работа английского исследователя Э. Актона о Герцене [59]. Она представляет собой пример особенно утонченного использования психоаналитического метода в целях обоснования тезиса о нецелесообразности революционной борьбы, являющейся лишь следствием аберрации социального сознания. На примере генезиса и эволюции политических воззрений выдающегося русского революционного мыслителя Актон пытается показать, что в данном случае революционность была лишь следствием и проявлением социальной незрелости ее носителя. Подосновой же незрелости являлись как врожденные, так и сформировавшиеся в годы детства личные качества мыслителя, обусловившие искаженные представления о мире и путях его развития.

Актон признает влияние на социально-политические воззрения Герцена «условий внутренней жизни Рос-

---

[58] Ibid., p. 227.

[59] Acton E. Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary. Cambridge, London, N. Y., Melbourne, 1979.

сии»[60]. Однако социальный опыт мыслителя, в освещении исследователя, не просто преломляется через неосознаваемые им самим психологические импульсы, но фактически полностью снимается ими.

Лишенные социальных детерминант политические идеалы Герцена представляются лишь порождением эмоциональной фантазии революционера, его «огромного, кипучего Я». Яркая одаренность Герцена, любовь и восхищение им со стороны родственников, признание и поклонение друзей — все это, по утверждению Актона, воспитало в нем высокую самооценку и веру в свои возможности. Они-то и обусловили появление социального идеала мыслителя и убежденность в его неизбежном торжестве[61]. Хотя, считает автор, этот идеал был всего лишь мечтой, притом слишком возвышенной, чтобы воплотиться в действительности.

Естественно, по логике Актона, никакие внешние общественно-политические перемены и катаклизмы не могли изменить социальной позиции Герцена, пока ощущение своего собственного бессилия в результате пережитой им личной трагедии не изменило созданный им образ самого себя, а вместе с тем и представление о природе человека и, соответственно, всю его «политическую философию». Личный кризис вывел Герцена из состояния «эмоциональной эйфории», подорвав его веру в историю и существенно изменив представления о социальном идеале, который теперь приблизился к реальной жизни, найдя свое земное воплощение в крестьянской общине[62]. Только в этой ситуации, считает Актон, Герцен смог по-иному оценить политические уроки 1848 г. Соотнеся жертвы революции с радикально изменившейся социальной утопией, он усомнился в целесообразности революционного способа решения общественных проблем и в дальнейшем, по мере обретения жизненного опыта, все более утверждался в своем мнении[63].

Доказательство этому Актон видит в теории «общинного социализма» Герцена, в которой, по его мнению, об-

---

[60] Ibid., p. 11.
[61] Ibid., p. 5, 6.
[62] Ibid., p. 66, 82, 107—108.
[63] Ibid., p. 71.

щина трактуется как «альтернатива» революционному методу социальных преобразований. Поэтому, вопреки действительным историческим фактам, исследователь и отодвигает начало оформления «общинной» теории к 1852 г., соотнося ее с «личным крушением» революционера, повлекшим пересмотр им своих идейно-теоретических и социально-политических воззрений [64]. Содержание работ, написанных Герценом между 1848 и 1851 гг. (в том числе «О развитии революционных идей в России»), в которых были заложены основы теории «общинного социализма», Актон сводит лишь к доказательству общности исторических перспектив России и Запада и утверждает, что та «внутренняя сила» России, на которую Герцен возлагал надежды, была не более чем «социальным эквивалентом» его уважения к самому себе [65].

В этой связи заслуживает особо быть отмеченным вывод Актона о том, что «наиболее эффективную политическую роль» А. И. Герцен сыграл в период подготовки крестьянской реформы, поскольку разочарование в революции значительно сузило сферу его деятельности, обратив ее на пользу практического дела [66].

Мы видим, таким образом, что Актон исходит из тезиса об обусловленности взглядов мыслителя только его субъективным восприятием событий и процессов, восприятием, в основе которого, в свою очередь, лежат сугубо личностные психологические черты. Бессилие (или нежелание) понять сложные, а иногда и противоречивые изгибы герценовской мысли, обусловленные крахом его надклассовых иллюзий и неспособностью встать на позиции материалистического истолкования наблюдаемых исторических событий, приводит «психоисторика» к объяснению природы социально-политических взглядов мыслителя его личными переживаниями. Здесь отчетливо обнаруживается свойственное современному психоанализу стремление подчеркнуть особую роль сферы подсознательного, которая якобы доминирует или даже полностью вытесняет рациональные моти-

---

[64] Ibidem.
[65] Ibid., p. 68, 71.
[66] Ibid., p. 127.

вы в деятельности человека [67]. Отсюда особенно ясно, насколько «удобно» для современных буржуазных исследователей освещать социальную деятельность революционера с позиций психоаналитического метода.

Работа Э. Актона являет яркий образец такого анализа. Нельзя не заметить, что необычайная глубина, динамичность и подчас противоречивость взглядов Герцена, а также недостаточная изученность сложной эволюции его мысли в советской историографии делают личность выдающегося русского мыслителя и революционера особо привлекательной для современных приверженцев «психоистории», поскольку создают более широкие возможности для искаженной интерпретации мотивов его революционной деятельности.

Рассмотренные работы Перейры, Мастерса, Актона достаточно убедительно свидетельствуют о наметившейся сейчас в «психоистории» тенденции уравновесить роль подсознательного и социального (рационально осознанного) в мотивации революционной деятельности, опираясь на исходное в психоанализе положение о принципиальном единстве человеческой психики,— положение искаженное или совершенно отброшенное в «психоисторической» практике под влиянием идеологических наслоений. Однако поскольку революционно-демократические теории по-прежнему изображаются (в угоду той же идеологии) абстрактными, полностью лишенными исторической почвы социальными утопиями, причина их появления усматривается в том, что в конкретных исторических условиях подсознательное может полностью вытеснить осознанные мотивы деятельности, определив, таким образом, ее общественный смысл и идейно-теоретическое обоснование. В результате наметившаяся новая тенденция в эволюции «психоисторических» концепций революционного движения означает в действительности лишь очередную модификацию исходных положений психоаналитических трактовок причин революционной деятельности. Определяющую роль в ней, как и прежде, играют идеологические позиции авторов.

---

[67] См. об этом подробнее: Салов В. И. Историзм и современная буржуазная историография. М., 1977.

3. Новые трактовки истоков и национального своеобразия революционно-демократической мысли

Стремление глубже осмыслить происхождение и социальную природу русской революционной демократии логически приводит буржуазных авторов к попыткам пересмотреть также истоки и содержание ее идейно-теоретического наследия. Авторы новейших исследований проявляют все возрастающий интерес к проблеме социально-политической детерминированности передовой общественной мысли России, стремясь выйти за рамки традиционных в буржуазной историографии схем, согласно которым факторы, определявшие генезис и поступательное развитие революционных теорий, усматривались лишь в национальном своеобразии русской интеллигенции, ее узкогрупповых, сектантских интересах и психологии.

Понимание важности более глубокого осмысления передовых социальных теорий России обусловлено, кроме, того, осознанием острой необходимости объективного анализа политических событий современного мира, тем более что в идеологии развивающихся стран обнаруживаются несомненные аналогии с рядом положений русского революционного демократизма [68]. В этой связи острее, чем раньше, проявляется стремление буржуазных исследователей понять историю революционной общественной мысли и решить вопрос о том, в какой степени ее генезис, содержание и эволюция детерминированы историческими условиями, каков механизм воздействия этих условий на процессы духовной жизни общества. Новый подход буржуазных авторов к рассмотрению русской революционно-демократической мысли проявляется в стремлении соотнести интеллектуальную историю России с развитием страны в целом, которое вписывается авторами в общее русло мирового исторического процесса. Соответственно и вся духовная история Рос-

---

[68] Об этом свидетельствуют изданные в Лондоне в 1969 г. материалы дискуссии о современном «популизме» (идеология и движение народнического типа), организованной лондонской школой экономических и политических наук (см. подробнее: Хорос В. Г. Народничество вчера и сегодня. — Вопросы философии, 1971, № 10, с. 173—179).

сии рассматривается как неотъемлемая составная часть духовного развития Европы.

К числу работ, в которых обнаруживается этот подход, следует отнести исследования Р. Мак-Нэлли, Э. Актона, Д. Харди, Э. Мастерса, Н. Рязановского, А. Вусинича. Чувство основанного на фактах эмпирического историзма дало возможность этим авторам анализировать социальные теории русских революционных демократов с позиций общности и универсальности законов эволюции общественной мысли, учитывая в то же время их национальное своеобразие, детерминированное конкретными историческими условиями своей страны.

Прежде всего, заметно корректируются представления о социальной роли радикальной интеллигенции. Все более и более утрачивают свое значение традиционные утверждения о том, что революционные теории были лишь следствием социальной изоляции интеллигенции и отнюдь не определялись общественными национальными проблемами. На смену им приходят другие концепции, по-иному освещающие социальное содержание и роль общественно-политической мысли революционной демократии. В частности, М. Малиа в своих последних работах особо подчеркивает способность русской революционной интеллигенции к конструктивному решению стоящих перед страною проблем. К такому заключению он приходит, основываясь на признании значительной роли неких общих имманентно присущих ей черт, свойственных самой природе интеллектуальной деятельности: скептицизма, критичности, творческого отношения ко всем существующим социальным и политическим установлениям и институтам.

Отмеченные качества как раз и формировали, согласно его утверждениям, способность всякой интеллигенции вырабатывать не только научную, но и нравственную истину, которая всегда социальна по своей природе и поэтому может обеспечить создание рациональных политических теорий [69]. Элементы отмеченного «синдрома характеристик» Малиа обнаруживает во взглядах французских энциклопедистов и всего «левого крыла» европейского общества XIX в [70] Однако полнее всего

[69] Malia M. The Intellectuals: Adversary or Clerisy?, p. 107.
[70] Ibidem.

этот «синдром», по его мнению, проявился в русской интеллигенции, которая по ряду своих внутренних национальных причин являла собою группу, «систематически ставившую под сомнение все традиционные ценности во имя разума, прогресса и социальной справедливости» [71].

Точку зрения Малиа в общих чертах разделяет А. Гелла. Он также считает, что русская революционная интеллигенция никогда не выступала только во имя своих собственных, групповых, узко понятых интересов. Ее «духовные вожди», формулируя идеологию, цементирующую интеллигенцию в единое целое, всегда руководствовались одним общим девизом — «служу своему отечеству» [72]. Это обстоятельство и обусловило, считает он, традиционную роль русской радикальной интеллигенции — роль «коллективного героя», в течение всего XIX столетия «господствовавшего над духом и политическим развитием нации» [73]. Наиболее отчетливо данный вывод звучит в работе Э. Актона о Герцене. Русский революционный мыслитель показан в ней великим гуманистом, радетелем всеобщих гуманистических стремлений к «полноте жизни» [74].

Таким образом, в исследованиях последнего времени русская революционно-демократическая мысль рассматривается уже не в качестве отражения лишь узкогрупповых («сектантских») стремлений и интересов интеллигенции, но как выражение общенациональной оппозиции по отношению к существовавшему государственному и социальному порядку, как теоретическое воплощение неких общечеловеческих нравственных ценностей.

Однако этот подход также является следствием игнорирования классовой обусловленности революционной идеологии. Она продиктована стремлением извратить действительный смысл и характер общественных противоречий, изобразив их, как и раньше, лишь в качестве проявления антагонизма между существовавшей

---

[71] Ibid., p. 107—108.

[72] Gella A. An Introduction to the Sociology of the Intelligentsia. — In: The Intelligentsia and the Intellectuals. Theory, Method, and Case Study/Ed by Gella A. Beverly Hills, 1976, p. 15.

[73] Ibid., p. 15, 16.

[74] Acton E. Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary, p. 9.

формой государственной власти, с одной стороны, и всеми слоями и группами населения — с другой.

Естественно, что перед буржуазными исследователями снова встает старая проблема, а именно: какова та действительная основа, которая обусловливала содержание революционного социального идеала, и в какой степени были реалистичными его позитивные требования. Содержание новейших буржуазных исследований убеждает, что поиски ответа на этот вечный вопрос при всей их активности и многообразии, остаются бесплодными, поскольку внеклассовый подход исключает уже самое возможность его научного решения.

Сошлемся в качестве показательного примера на рассуждения Э. Актона относительно причин и обстоятельств формирования социального идеала Герцена. Эти рассуждения поучительны как пример непоследовательности и противоречивости, свойственных буржуазной исторической мысли. Как уже отмечалось, Актон принадлежит к числу тех исследователей, которые, являясь приверженцами психоаналитического подхода, не разделяют позиций ортодоксального фрейдизма и пытаются подкрепить его социальным анализом. Рассматривая поведение человека, Актон исходит из признания первенствующей роли социальных детерминант в деятельности всякой исторической личности. Это обстоятельство позволило ему приблизиться к правильному решению некоторых частных вопросов. Так, решительно отвергая утвердившийся в буржуазной историографии тезис о возникновении русской революционной идеологии как следствии отчужденности радикальной интеллигенции или ее национального мессианства, Актон утверждает, что только осознание факта глубокой вовлеченности Герцена в проблемы, поставленные условиями русской жизни, может пролить свет на «источник» и «природу» его социально-политического идеала [75].

Однако в связи с тем, что представление автора о социальном факторе и его роли в жизни общества размыто, лишено своей классовой определенности, он приходит в конечном счете к совершенно ошибочным выводам. Подчеркивая зависимость взглядов Герцена от внутри-

[75] Ibid., p. 11.

политических условий России, Актон трактует ее как проявление сугубо личностного, полностью лишенного классовой ориентированности восприятия жизни. Реальная ситуация в стране — деспотизм самодержавия и крепостничество, обрекавшие Россию на застой, а подавляющую часть ее населения на бесправие, имела, по его мнению, лишь весьма приблизительное отношение к формированию политических настроений Герцена.

Актон утверждает, что мечты Герцена «парили» над такими «земными» вопросами, как крепостное право [76]. Если, замечает он, сам Герцен и верил в то, что положение крестьян укрепляло в нем стремление к свободе, то это основывалось лишь на его брезгливом, чисто снобистском нежелании считать себя сопричастным к праву своего отца владеть крепостными [77]. Что же касается неприятия Герценом существовавшей государственной власти, то оно было только следствием осознания им того, что в глазах русского государства он был «незаконнорожденным» [78]. В результате социальные идеалы мыслителя изображаются историком сначала как плод чисто эмоциональной фантазии революционера, а позже, в его зрелые годы, как следствие отвлеченных, сугубо рационалистических исканий.

Мы встречаемся здесь не только с конкретным проявлением вполне определенных методологических установок, но и с упорным нежеланием автора считаться с действительными историческими фактами, которые убедительно свидетельствовали о решительном неприятии Герценом российских самодержавно-крепостнических порядков, его страстном стремлении видеть свою страну и народ свободными от крепостнических оков и гнета деспотической власти. Уместно сослаться в данном случае на слова самого Герцена, высвечивающие действительный смысл всех его идейно-теоретических исканий: «Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, это — наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему..., желание деятельно участвовать в его судьбах» [79].

---

[76] Ibid., p. 13.
[77] Ibid., p. 6.
[78] Ibidem.
[79] Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. М., 1959, т. XVIII, с. 376.

Свой вывод об абстрактности социально-политических взглядов Герцена Актон пытается обосновать, искаженно интерпретируя философско-исторические воззрения революционера. Исходным пунктом его анализа является совершенно ошибочный тезис о том, что представления Герцена об историческом процессе были лишены каких-либо определенных социальных коррелятов и что он полностью отрицал существование в истории объективной закономерности. Поэтому понимание Герценом истории как поступательного процесса основывалось будто бы только на подкрепляемой его личными качествами субъективной вере в природную порядочность и добродетельность человека [80].

Так, в частности, рассматривается в книге отношение русского мыслителя к философии истории Гегеля. Разделяя вывод советских исследователей о том, что Герцен обратился к Гегелю в поисках философского обоснования своего социалистического идеала, Актон совершенно неверно интерпретирует смысл его критики гегелевской философии. Он утверждает, что Герцен отвергает пантеизм Гегеля не с материалистических позиций, а вследствие того, что абсолютный идеализм Гегеля противоречил герценовскому признанию примата личности в историческом процессе. При этом, как утверждает исследователь, Герцен вообще «не решил для себя спор между материализмом и идеализмом». (Его не смущает при этом, что уже «Письма об изучении природы»— середина 40-х гг.— не оставляют сомнений относительно материалистического характера мировоззрения А. И. Герцена). Что же касается гегелевской диалектики, то она, по мнению Актона, лишь упрочила мысль Герцена о превратностях истории и тем самым не укрепила, а, напротив, ослабила его веру в исторический прогресс [81].

В чем же при такой трактовке понимания Герценом процесса исторического развития и отношения к российским порядкам автор усматривает влияние на его взгляды «атмосферы русской жизни»? Оказывается, оно проявляется лишь в том, что в России идеи были единственной видимой сферой перемен. Поэтому здесь, а не в области экономики или социальных институтов русские ре-

[80] Acton E. Op. cit., p. 10.
[81] Ibid., p. 10—11.

волюционные деятели (и Герцен не был исключением) искали решения волновавших их проблем [82].

Мы видим, что все рассуждения Актона приводят его в конечном итоге к противоречию с самим собой. Он приходит к выводу, от которого пытался отмежеваться,— выводу о будто бы абстрактном, лишенном реальной исторической почвы теоретизировании русских радикальных мыслителей.

С построениями Актона сходна концепция М. Раева, также пытающегося связать общественно-политические взгляды русской радикальной интеллигенции с конкретными историческими условиями в стране и столь же закономерно терпящего неудачу. Социальный опыт интеллигенции, определивший ее взгляды, не имеет, в интерпретации американского ученого, никакой связи с общественными отношениями и расстановкой классовых сил в стране. Он ограничен лишь рамками опыта, полученного в результате воспитания и образования самого дворянства, из среды которого вышла в своей подавляющей массе интеллигенция.

Начиная с XVIII в., пишет Раев, дети дворян, помещенные в школы, надолго отрывались от родного дома, посещая его раз в год, а иногда и реже, так как школ было мало и они были обычно сильно отдалены от родных мест [83]. Это обстоятельство в сочетании со строгой казарменной дисциплиной учебных заведений способствовало не только разрыву со своей семьей, близкими, но и отделяло от страны в целом. Тем более, что полученное в школе западное образование не было связано с ее традициями и культурой [84].

Кроме того, как считает Раев, русским дворянам не доставало крепких корней и чувства привязанности к какому-либо одному определенному месту вследствие раздробленности и разбросанности их имений, полученных от государства за службу. Поэтому в их патриотизме отсутствовала «конкретная специфичность». Мысли о своей стране ассоциировались у них с некими туман-

---

[82] Ibid., p. 13, 15.

[83] Raeff M. Home, School, and Service in the Life of Eighteenth-century Russian Noblemen. — In: The Structure of Russian History. N. Y., 1970, p. 216.

[84] Ibid., p. 15, 16.

ными, расплывчатыми образами[85]. Результатом всего этого и явилось «незнание» интеллигенцией реальной жизни своей страны и тяготение к абстрактным идеалам, когда весь «склад ума» ее становится в большей мере рационалистическим, нежели традиционным[86].

Итак, все рассуждения Раева о «социальном опыте» интеллигенции оборачиваются очередной вариацией традиционного в буржуазной историографии утверждения о социальной отчужденности интеллигенции и, следовательно, утопизме ее политической мысли. Любопытно, что особенно откровенно это звучит в последних работах Раева, где он совершенно недвусмысленно говорит о том, что передовая общественно-политическая мысль России XIX в. отразила в себе противоречие между «культурной вестернизацией» и «институционным традиционализмом», т. е. явилась следствием отрыва интеллигенции от социально-политической структуры России[87]. Более того, как утверждает историк в своей недавней рецензии на книгу польского исследователя А. Валицкого о славянофилах, термины «феодализм», «либерализм», «консерватизм» и др. являются лишь «банальными клише», которые ничего не могут дать для выяснения действительного содержания русской социально-политической мысли XIX в.[88].

Нельзя не сказать, что в данном случае мы сталкиваемся с очевидным проявлением отступления автора от своих позиций, выраженных ранее в призыве обратиться к анализу таких категорий, как «феодализм» и «капитализм»[89]. Факт этот, на наш взгляд, достаточно убедительно свидетельствует о чрезвычайно сложном, противоречивом развитии современной буржуазной историографии, лишенной подлинно научных ориентиров.

Рассуждения и выводы М. Раева, как и Э. Актона, являются примером того, что предпринятые в последнее

---

[85] Ibidem.

[86] Ibid., p. 19, 21, 22.

[87] Raeff M. Imperial Russia. Peter I to Nicholas I. — In: Introduction to Russian History. Cambridge, London, N. Y., Melbourne, 1976, p. 128.

[88] Canadien-American Slavic Studies, 1977, v. 11, N 3, p. 432.

[89] Raeff M. Russian Perception of Her Relationship with the West.— In: The Structure of Russian History/Ed. by M. Cherniavsky. N. Y., 1970, p. 266.

десятилетие буржуазными учеными попытки пересмотреть прежние трактовки социальной природы и общественного звучания идейно-теоретических воззрений русской революционной демократии, скорректировав их с новыми оценками исторического места и роли радикальной интеллигенции, не приводят к принципиально новому решению проблемы.

Внесенные поправки остаются в рамках традиционных для буржуазной историографии представлений и методологических установок, состоящих в признании независимости общественной мысли от классовых отношений в обществе и в конечном счете подчинении ее лишь своим собственным внутренним законам. Особенно отчетливо такой подход проявился в исследованиях американского ученого А. Вусинича, посвященных истории развития науки и социально-политической мысли России второй половины XIX в. [90].

Работы Вусинича заслуживают специального рассмотрения. В них не только наиболее полно и рельефно выразились новые для современной буржуазной историографии тенденции в решении узловых вопросов истории русской революционно-демократической мысли, но и впервые предпринята попытка поставить рассматриваемую проблему в теоретико-методологическую плоскость. Эрудиция автора, объективное изложение им событийной канвы, откровенные симпатии к представителям русского революционно-демократического движения — все это ставит его работы в ряд наиболее интересных и глубоких (а в конкретных наблюдениях и выводах даже весьма ценных) исследований по истории прогрессивной общественной мысли России.

Исходным теоретико-методологическим положением работ Вусинича является тезис о социально-исторической детерминированности общественной мысли как непреложном законе ее развития. Универсальность и объективность этого закона определяется, по его мнению, единством конечной цели всякой политической теории как таковой — «концептуализировать динамику социальной интеграции», выявив предварительное место и

[90] Vucinich A. Science in Russian Culture. 1861—1917. Stanford, 1970; Idem. Social Thought in Tsarist Russia. The Quest for a General Science of Society. 1861—1917. Chicago, London, 1976.

связи личности в существующей общественной структуре [91]. В этом своем предназначении социально-политическая мысль должна изучить и изучает прежде всего собственное общество, которое является для нее главным источником «эмпирической информации». Поэтому она всегда представляет собою не что иное, как «облачение» конкретного исторического материала в абстрактные социологические схемы, становясь тем самым неотъемлемой «интегральной частью» истории своей страны [92].

Отталкиваясь от этих установок, Вусинич и пытается осветить генезис и специфику русской революционно-демократической мысли, интерпретируя ее при этом таким образом, чтобы на конкретном историческом материале обосновать свой вывод, будто революционные социальные теории не могут стать действительно научными.

В духе новых тенденций, имеющих место в современной буржуазной историографии, исследователь рассматривает русскую общественно-политическую мысль и социологию, основываясь на безусловно верном положении об общности путей исторического развития России и стран Западной Европы. По его мнению, Россия болела теми же проблемами, над которыми бились передовые умы Запада: пути и движущие силы исторического прогресса, значение экономического фактора в социальной эволюции, роль личности в истории, различия между утопическим и научным социализмом.

Это были вопросы, поставленные самим ходом исторического развития страны. При этом, как правильно отмечает историк, в пореформенной России они стояли более остро и более настоятельно требовали своего решения, поскольку страна позже других европейских государств вступила на путь капитализма и стремилась как можно быстрее достичь уровня их развития [93].

Успешно приобщаясь к «современным формам» модернизации, освобожденная от уз крепостничества и разбуженная севастопольской трагедией, Россия совершила «скачок» в своей духовной эволюции, выразившийся

---

[91] Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia, p. VIII.
[92] Ibid., p. IX.
[93] Vucinich A. Science in Russian Culture, p. 6, 7.

главным образом в необычайно напряженном развити общественно-политической мысли, в том числе социоло гии. Последнее обстоятельство, по мнению исследова теля, было обусловлено не только более быстрыми тем пами экономической эволюции пореформенной Росси и в связи с этим осознанием универсальности историчес кого процесса, но также и тем, что в прошлом она ми новала «фазу социокультурного развития», пройденну странами Запада, когда вырабатывалось скептическо отношение к авторитетам, убежденность в созидательно способности человеческого разума и, соответственно, за кладывались основы исторического знания [94]. Поэтом в условиях быстрого экономического роста и высоко духовного подъема, происходивших в XIX в., русское об щество особенно настойчиво стремилось наверстать упу щенное.

Однако, как отмечает далее Вусинич, само стремле ние к научному осмыслению развития общества отнюд не всегда приводит к выработке действительно научно философии истории. Дело в том, что освещение объек тивных исторических процессов и событий, служащих ре альной детерминантой всякой общественной мысли всегда преломляется через их субъективное восприятие которое, в свою очередь, зависит от интеллектуальны способностей мыслителя и ситуативных моментов, н главное — от стоящих перед ним политических целей задач [95]. Другими словами, всякая социальная теори создается не только как научная, являющаяся результа том лишь строго логического анализа исторической дей ствительности. В ней также всегда присутствует элемен идеологии, отражающий политические позиции ее твор ца и выражающийся, как правило, в критике существую щих социальных ценностей и в разработке принципо общества будущего [96].

Вусинич признает определенную позитивную рол идеологии в выработке научного знания об обществе считая, что она способствует динамизму общественно мысли, появлению новых социальных теорий, являю щихся идейно-теоретическим руководством в социаль

---

[94] Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia, p. 9.
[95] Ibid., p. IX.
[96] Ibidem.

ной практике[97]. Однако, полагает он, идеологический элемент не должен довлеть над общественной мыслью, иначе социальная практика лишится верной научно-теоретической основы, поскольку сама социологическая мысль будет в этом случае опираться не на объективный анализ истории, а на чисто умозрительный социальный идеал. Другими словами, позитивная роль идеологии сохраняется в общественной мысли, по мнению Вусинича, лишь до того момента, пока не нарушается необходимый баланс в соотношении ее идеологического и научного компонентов, т. е. когда мыслитель рассуждает о прогрессе, равенстве и демократии лишь с точки зрения неких всеобщих абстрактных моральных принципов, не становясь на позиции какого-либо определенного общественного слоя. В противном случае идеология начинает теснить науку с ее законного места, подменяя собою методы строго логического анализа. И тогда, подчеркивает Вусинич, общественная теория утрачивает способность научно освещать реальные исторические факты, становится на службу узкогрупповым целям и дезориентирует общество, лишая его правильной, научно обоснованной перспективы[98].

Таким образом, конкретное проявление закона социально-исторической обусловленности общественной мысли оказывается в конечном счете зависимым, по мнению американского автора, от того, способны ли ее создатели выработать научную реалистическую философию истории, не зависящую от политических устремлений какого-либо класса, или политические цели и амбиции возьмут в них верх, и тогда объективный научный анализ исторических процессов будет вытеснен идеологическими наслоениями.

Мы видим из приведенных рассуждений, что бесспорно верное исходное положение Вусинича о конкретно-исторической обусловленности общественной мысли остается чисто абстрактным. Оно понадобилось ему лишь для обоснования несостоятельного утверждения, будто политическая направленность социальных теорий пагубна уже сама по себе, ибо исключает возможность объек-

---

[97] Ibid., p. 11.
[98] Ibid., p. 11, 12.

тивно истинной оценки исторических событий. Не понимая (или сознательно игнорируя) действительную суть исторического развития как процесса, в основе которого лежит классовая борьба, он, естественно, не может понять и классовой обусловленности общественной мысли, неизбежной детерминированности позиций мыслителя интересами и устремлениями определенного класса.

Более того, из всех рассуждений Вусинича видно, что этот вывод особенно пугает его, поэтому он пытается доказать, будто всякая политическая нацеленность мыслителя, независимо от его классовой ориентированности, мешает объективно научному осмыслению истории и, следовательно, выработке правильной социальной теории. Таким образом, автор стремится деидеологизировать общественно-политическую мысль путем обоснования тезиса о возможности существования некоей чистой, далекой от классовых конфликтов и политической борьбы науки об обществе. Объективистская идея очищения социологии от идеологического и нравственного момента под лозунгом свободы исследований выступает здесь во всей своей неприкрытой очевидности.

С позиций этих исходных теоретических положений Вусинич и рассматривает историю русской революционно-демократической мысли. Он стремится доказать, что попытки русских революционных идеологов выработать научную философию истории в качестве идейно-теоретического руководства в своей социальной деятельности в силу объективных обстоятельств оказались тщетными. Причина этого, как следует из всех его дальнейших рассуждений, крылась в том, что в конкретных исторических условиях России в своих поисках научной социологии они руководствовались прежде всего идеологическими задачами и потому, выступая в качестве поборников научного взгляда на мир, фактически оказывались не в состоянии действовать как ученые. К обоснованию этого вывода и сводится основное содержание рассматриваемых нами работ историка.

Безусловно верный в целом тезис о том, что попытки русских революционных демократов создать научную философию истории были объективно обречены, доказывается исследователем с совершенно ошибочных позиций — позиций отрыва революционно-демократической мысли от направления и задач общественного развития,

от социально-политических устремлений самого многочисленного и в то время единственно революционного в стране класса — крестьянства.

Отправным положением в системе доказательств Вусинича является тезис о том, что в силу ряда причин в пореформенной России создается своеобразная интеллектуальная атмосфера. Подъем науки и духовного развития личности оказался здесь в более сильной взаимосвязи и взаимообусловленности, чем где бы то ни было. В результате создавалась ситуация беспрецедентной тяги к науке, веры в нее. Больше чем в каком-либо другом обществе здесь видели в науке панацею от всех зол, «самый надежный метод» постижения смысла истории и «самый надежный показатель» социального и культурного прогресса [99].

Гипертрофированная вера в науку, считает американский ученый, имела свои особые последствия. Она рождала убежденность в эффективности волевых созидательных потенций человека, в том, что вооруженная научным знанием свободная личность может обеспечить поступательное развитие общества независимо от объективных исторических условий. Эта убежденность вполне отчетливо проявилась, по мнению автора, уже у «нигилистов» в их требовании создать теорию социального развития не только на основе непреложных объективных законов, но, как предлагал Д. И. Писарев, и на основе «техники наиболее рациональной мобилизации усилий человека достичь лучшего будущего» [100].

По мере эволюции революционно-демократических теорий вера в волевые усилия личности, подкрепленная успехами науки, становилась все сильнее и окончательно утвердилась, воплотившись в субъективной социологии народников, все старания которых создать конструктивную социологическую теорию, опираясь на широкую эмпирическую базу, оказались в этой ситуации тщетными [101].

Нельзя не отметить, что Вусинич правильно уловил здесь тот механизм логической связи, который обусловил

---

[99] Ibid., p. 9.

[100] Vucinich A. Science in Russian Culture, p. 30; Idem. Social Thought in Tsarist Russia, p. 7.

[101] Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia, p. 6, 7.

преемственность мысли «нигилистов» и революционных народников. Трактуя нигилизм не в качестве философии лишь одного отрицания, но прежде всего как «философию сциентизма», подчиняющую науке все социальные, нравственные, этические ценности во имя позитивных целей организации нового общества, он справедливо считает, что такая позиция нигилистов способствовала складыванию субъективной социологии народников[102].

Однако, верно зафиксировав большое значение, которое придавалось науке в попытках революционных деятелей не только осмыслить исторический процесс, но и воздействовать на него, а также правильно отметив роль преемственности мысли в развитии их философско-исторических взглядов, Вусинич оказался не в состоянии решить основную из поставленных им проблем, а именно: раскрыть действительную историческую обусловленность революционной теории общественно-исторического прогресса, связать ее, как и всю революционно-демократическую идеологию, с реальными социальными процессами в стране. Неспособность Вусинича понять классовый смысл и содержание этих процессов обусловила и несостоятельность его попыток раскрыть подлинную социальную природу революционно-демократического движения и в связи с этим объяснить причину ненаучности его общественной мысли.

Игнорируя классовое содержание социально-экономических процессов, растворяя его в общих рассуждениях о «модернизации» страны, Вусинич, естественно, не мог осмыслить действительного значения проблем, оказавшихся в центре внимания социальной мысли России, понять основу их острого общественного звучания. Он оказывается не в состоянии объяснить тот огромный интерес к личности человека, его творческим потенциям и социальным связям, который был характерной чертой всех революционно-демократических теорий. Он полагает, что «необычный акцент» на личности, как «категории социальной мысли», был лишь «реакцией на подавление» ее в социально-политических условиях России, а также выражением новой концепции социальной

[102] Ibidem.

справедливости, возникшей в период подготовки и проведения в жизнь крестьянской реформы [103].

Характеризуя в этой связи 60—70-е годы в России как время быстрого материального прогресса, бурного социального брожения и интенсивных интеллектуальных открытий, Вусинич утверждает, что все эти процессы никак не были связаны между собой, поскольку главным руководящим принципом в них являлся принцип «самостоятельности», в котором выражалось требование свободных, не руководимых официальной самодержавной властью действий и требование «несовместимости укоренившихся в стране автократических ценностей и науки» [104]. В этом стремлении общества к самостоятельности, как следствии принципиального неприятия господствовавшего в стране политического режима, и крылась, по мнению историка, главная опасность — опасность создания абстрактных, лишенных реальной социально-исторической основы теорий. Так, собственно, и произошло, считает он, в конкретных исторических условиях России второй половины XIX в.

Революционеры, по его мнению, рассматривали развитие науки об обществе в качестве процесса, «конгруэнтного» их идеологии, и не чувствовали в связи с этим необходимости ни в систематическом анализе внутренней логики научной мысли, ни в последовательном применении строгого научного метода исследования реальных исторических процессов [105]. Поэтому на деле их приверженность к науке была не более, чем приверженностью к своей идеологии. В результате же все социологические теории революционеров-демократов оказались основанными лишь на идеях, которые служили базисом их политической оппозиции автократическому режиму [106]. Это означало, что социология вовсе не представляла собой теоретической платформы политической программы революционеров, а, напротив, сама являлась сложным (логически выведенным) следствием их социального идеала, который, в свою очередь, был лишь утопической мечтой, отразившей в гипертрофированной

---

[103] Ibid., p. 235.
[104] Ibid., p. 5, 9.
[105] Ibid., p. 64, 93.
[106] Ibid., p. 427.

форме стремление русской интеллигенции к демократии, равенству и свободе, попранным деспотизмом автократической власти [107].

Эти утверждения являются извращением реальных фактов. Хорошо известно, сколь напряженными были идейно-теоретические поиски революционных мыслителей в целях создания научной теории общественного развития, которые предваряли разработку ими программ социально-политических преобразований [108]. И все же главный порок всех построений Вусинича заключается не в этом. В действительности причины, обусловившие состояние и развитие революционно-демократической общественной мысли, были совершенно иными, чем их рисует историк. Острое осознание передовой интеллигенцией тормозящей роли самодержавно-крепостнического режима являлось следствием происходившего распада феодальной системы и ускорения темпов капиталистического развития в стране, а отнюдь не результатом более интенсивного развития науки и понимания ее несовместимости с существовавшими автократическими ценностями, как пытается представить американский автор, переворачивая тем самым все с ног на голову.

Реальное содержание революционно-демократической социально-политической мысли в России определялось главным образом не своеобразием духовного и интеллектуального состояния русского общества (хотя, разумеется, следует учитывать и это обстоятельство), но прежде всего характером и степенью социально-экономического развития страны, которое и обусловило это своеобразие. Тем, что происходил процесс быстрого становления новых форм хозяйства, когда старое уже бесповоротно рушилось с «громадной быстротой» [109] и происходило высвобождение личности от оков феодально-

---

[107] Ibid., p. 243, 433.

[108] Подробнее см.: Богатов В. В. Философия П. Л. Лаврова. М., 1972; Смирнова З. В. Социальная философия А. И. Герцена. М., 1973; Пантин И. К. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. М., 1973; Володин А. И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. М., 1973; Шахматов Б. М. П. Н. Ткачев. Этюды к творческому портрету. М., 1981.

[109] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 433.

крепостного гнета, а в связи с этим и небывалое прежде развитие личной инициативы и деятельности.

В области социальных отношений это нашло отражение не только в росте активности личности, но и в общественных настроениях, проявившихся здесь, как отмечал В. И. Ленин, общим подъемом чувства личности, чувства собственного достоинства, «горячей войной литературы против бессмысленных средневековых стеснений личности» [110]. Раскрывая связь общественных настроений народных масс с происходившим в стране развитием капиталистических отношений, В. И. Ленин писал: «...Именно капитализм, оторвавший личность от всех крепостных уз, поставил ее в самостоятельные отношения к рынку, сделав ее товаровладельцем (и в качестве такового — равной всякому другому товаровладельцу), и создал подъем чувства личности» [111].

Подъем чувства человеческого достоинства, развитие личной инициативы и предпринимательства являлись той основой («жизненной подкладкой»), которая, поставив проблему личности в центр внимания всей прогрессивной общественной мысли, питала субъективистские концепции исторического прогресса с их верой в действенную созидательную силу человека, переходившую в проповедь волюнтаризма. Что же касается социального идеала, то он имел своей основой вполне реальные жизненные требования крестьян (самого многочисленного слоя населения Российской империи) — требования национализации земли, неверно истолкованные революционными идеологами в качестве социалистической меры.

Не будучи способным связать историко-философские и социально-политические взгляды революционеров с с происходившими в стране реальными общественно-историческими процессами, Вусинич пытается, как мы убедились, объяснить их содержание с точки зрения соответствия или несоответствия их объективно научному знанию об обществе, смысл которого он усматривает в признании исторической правомерности наличных социально-политических институтов. Это означало, что со-

---

[110] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 433.
[111] Там же, с. 434.

циальный идеал должен исходить, по его мнению, лишь из требования постепенного частичного усовершенствования традиционно сложившихся установлений и порядков. В противном случае, как это и произошло в России, он может быть-де не более чем социальной фантазией, не опирающейся на почву реального.

В данном случае мы имеем дело с теми абстрактно-догматическими рассуждениями о социальных теориях в отрыве от конкретно-исторических условий, которые, как отмечал В. И. Ленин в своей полемике с Михайловским и Струве, являлись следствием свойственной буржуазной исторической мысли ненаучной методологии [112]. Критикуя либеральных народников, В. И. Ленин отмечал, в частности, что в своих социологических построениях они исходили из признания «законности» общественного идеала с точки зрения «современной науки и современных нравственных идей». Марксист же, пишет он далее, формулирует этот идеал «не как требование «науки», а как требование такого-то класса, порождаемое такими-то общественными отношениями...», т. е. сличает его не с современной ему наукой и нравственными нормами, а с *«существующими классовыми противоречиями»* [113]. Если же, продолжает В. И. Ленин, «не свести *таким образом* идеалы к фактам», то они (идеалы) останутся лишь «невинными пожеланиями без всяких шансов... на их осуществление» [114].

Именно так, в качестве «невинной» абстрактной мечты Вусинич и пытается изобразить социальный идеал и философско-исторические взгляды революционеров-демократов. Причину этого он видит в том, что они основывались лишь на неверно понятом нравственном императиве — признании русской интеллигенцией своим моральным долгом осуществление радикальной ломки господствовавшей социальной системы. В результате при всей правомерности некоторых частных суждений и выводов (прежде всего — о приверженности революционной демократии к научному объяснению истории и политической нацеленности ее социологических построений)

---

[112] Там же, с. 434, 435.
[113] Там же, с. 436.
[114] Там же.

рассуждения ученого оказались ошибочными в своей основе.

Рассмотрев концепцию А. Вусинича, мы убедились, что она не выходит из рамки ограничений и догм, свойственных буржуазной историографии, и потому отнюдь не свободна от ошибочных выводов и заключений. Социально-классовые противоречия, обусловившие становление и развитие передовой общественной мысли России, подменяются у него конфликтом между «автократическими ценностями» (существовавшими социальными институтами и освящавшей их официальной идеологией) и интеллигенцией, пытавшейся вооружиться научным знанием. Причем наука, полагает он, подчинена самостоятельным законам развития, не зависящим от социально-исторического прогресса.

Отказ от классового анализа русской революционной мысли приводит к тому, что исходная посылка автора о ее детерминированности историческими условиями не только не получает своего развития и конкретизации, но и по существу повисает в воздухе, остается абстрактной. В результате он рассматривает эволюцию русских революционно-демократических социальных теорий в типичной для буржуазного ученого манере — лишь с точки зрения логической преемственности и развития их основных положений, т. е. трактует ее как процесс автономный, обусловленный имманентной логикой идей, движение которых стимулировалось лишь политическими амбициями интеллигенции, стремившейся обрести необходимые для всякого цивилизованного общества демократические свободы.

Отсюда вытекает предпринятое Вусиничем деление революционно-демократической идеологии на три последовательных этапа: нигилизм, народничество и бакунизм. Общим знаменателем, объединяющим их в единое целое, было, согласно его утверждению, то, что все они являлись ответом на официальную идеологию, обосновывавшую тезис об автократическом государстве как главной силе, осуществляющей модернизацию страны. В противоположность этому тезису представители революционной демократии особо подчеркивали созидательные возможности других творческих сил: науки («нигилисты»), критически мыслящей личности (народники) и, наконец, стихийных действий инстинктивно революци-

онного народа. Последний вывод, сделанный Бакуниным, представлял собой, считает Вусинич, крайнюю формулировку антиправительственной ориентации. Бакунин защищал уже не просто «экспансию» общества за счет государства, но более радикальную идею — идею его полного уничтожения [115].

Таким образом, по мере, того, как социальный идеал становился более экстремистским, менялись и представления революционеров об историческом процессе, его движущих силах. Вдохновляемые гуманными целями борьбы за гражданские права человека, они начинают рассматривать социологию уже не просто как науку о развитии общества, но прежде всего в качестве идеологического оружия в борьбе с самодержавной властью [116]. В результате их социальные идеалы не получили научно-теоретического обоснования. В действительности они отражали лишь надуманные представления о благе некоей абстрактной личности и сами служили «ключом» к оценке исторических фактов [117].

Нетрудно догадаться, что рассуждения историка направлены не только на то, чтобы показать беспочвенность революционно-демократической программы социальных преобразований. Они преследуют и другую, более важную для него цель — обосновать вывод о том, что марксизм в России также не являлся научной социальной теорией, ибо, как утверждает американский автор, какое бы знамя ни несла русская революционная интеллигенция — нигилизма, анархизма или марксизма, традиционным для нее было «подчинение науки идеологии». Следовательно, и общественное влияние революционеров определялось не научной обоснованностью их теорий, а лишь силой гуманности их социальной мечты [118].

Таким образом, Вусинич приходит фактически к тому же выводу, который особенно широко варьировался в концепциях буржуазных авторов в 50—60-е гг. Он отстаивает старый тезис об абстрактности, умозрительности революционного социального идеала, его полной

---

[115] Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia, p. 75.
[116] Ibid., p. 26.
[117] Ibid., p. 93.
[118] Ibidem.

оторванности от задач общественного развития России. Отличие состоит лишь в том, что прежде этот тезис выводился будто бы из полной отчужденности интеллигенции от социально-политической структуры страны, в работах же Вусинича он обосновывается путем доказательства того, что тяготение революционеров к абстрактному рационализму было детерминировано конкретно-историческими условиями России. Вследствие этого они не могли мыслить иначе, чем с позиций идеологической заданности, в чем и заключалась, по убеждению автора, причина их неудач.

Своеобразие этого подхода хорошо сформулировано Раевым, разделяющим в основных узловых моментах взгляды Вусинича. В уже упоминавшейся нами рецензии на книгу Валицкого он, как и Вусинич, видит основную трагедию России «в утопизме ее общественной мысли». Однако, признавая это, он вместе с тем считает, что созданные передовыми русскими мыслителями социальные проекты отнюдь не являлись тем родом утопии, который находится за пределами реального, но представляли собой такую утопию, которая при известных условиях могла стать альтернативой существовавшему порядку [119].

Поясняя свой вывод, Раев утверждает, что общественную мысль России XIX в. нельзя понять вне «политических измерений», поскольку она была тесно связана с социально-политическими задачами, стоящими перед страной. Поэтому, считает он, причину утопизма социальных идеалов следует искать не во внутренней структуре и имманентной диалектике идей, присущих русской мысли, а в отношениях между этими идеями и существовавшими в стране политическими институтами, в том конкретно, что русские политические деятели недостаточно учитывали в своих социальных проектах институционные рамки России [120].

Таким образом, рассмотренные концепции представляют собой известный шаг вперед в исследовании буржуазными историками русской революционной общественно-политической мысли, поскольку они основываются на признании самого факта исторической обусловлен-

---

[119] Canadien-American Slavic Studies, 1977, v. 11, N 3, p. 432.
[120] Ibid., p. 436, 437.

ности ее содержания. Тем не менее игнорирование авторами классового принципа анализа приводит их к неспособности понять действительную внутреннюю детерминированность социально-политических теорий русской революционной демократии.

4. Проблема идейных влияний Запада

Одной из проблем, вызывающих в последнее время особенно большой интерес и пристальное внимание буржуазных исследователей, является проблема идейных влияний Запада. Она основывается на старой и прочной традиции в современной буржуазной историографии русской общественно-политической мысли и подобно всем другим вопросам столь важной и многоплановой темы имеет свою судьбу, заслуживающую специального рассмотрения.

Следует отметить к тому же, что советские историки ограничиваются лишь беглой констатацией факта широкого признания буржуазными исследователями тезиса о прямой зависимости и производном характере передовой русской мысли от общественно-политических теорий Запада. При этом они не вдаются в более детальный анализ вопроса и не принимают во внимание своеобразие трактовок буржуазными авторами других проблем интеллектуальной и общественно-политической истории России [121].

Между тем по целому ряду причин, в числе которых отметим как одну из главных стремление буржуазных историков обосновать неизбежность складывания в будущем некоей глобальной наднациональной доктрины [122], вопрос о взаимоотношении общественной мысли России и стран Западной Европы приобретает сейчас особо актуальное значение и вызывает все возрастающий инте-

---

[121] В качестве исключения назовем лишь цитированную работу М. Д. Карпачева, в которой предпринята попытка связать трактовку английскими и американскими авторами проблемы идейных влияний Запада с решением ими вопроса об истоках и своеобразии идеологии русского революционного народничества.

[122] См. подробнее: Смолянский В. От «конвергенции» к «планетарному сознанию». — Коммунист, 1978, № 8, с. 101—113.

рес рассматриваемых авторов. Не случайно здесь, как и в исследовании ряда других проблем истории общественной мысли России, отчетливо выступают новые позитивные тенденции более глубокого и объективного подхода, находящиеся в непосредственной связи с попытками буржуазных историков дать сравнительно адекватное освещение прошлого.

Вместе с тем, как мы проследили на примере исследования ими целого ряда других проблем истории русской революционно-демократической мысли, наметившиеся здесь сдвиги отнюдь не означают, что старые традиционные трактовки полностью утратили свою роль и значение.

Ранее уже было показано, что методологической основой исследования буржуазными авторами русских социально-политических теорий была и остается абсолютизация общественной мысли, ее отрыв от всех остальных проявлений жизни страны. Отсюда логически следует вывод о том, что общественная мысль развивается главным образом в силу своих собственных законов, не зависящих или почти не зависящих от социально-экономического развития общества, его классовых отношений и конфликтов.

В результате такого подхода общественно-политические теории лишаются своего конкретно-исторического содержания. Они наделяются рядом неизменных, якобы изначально присущих свойств, определявших их социальную роль и значение. В ряду таких свойств русской общественной мысли одним из наиболее примечательных буржуазные исследователи всегда считали ее тесную зависимость от идейно-теоретического наследия Запада. Изображая русскую радикальную интеллигенцию оторванной от своей исторической почвы и потому произвольно конструирующей социальные идеалы, рассматриваемые авторы приходят к выводу, что в своих теоретических поисках она должна была неизбежно обратиться к более передовому Западу, заимствуя там теории и идеалы, которые казались ей наиболее подходящими с точки зрения нравственности или рационального обоснования.

Тезис о производном характере русской общественной мысли, долгое время безраздельно господствовавший в буржуазной историографии, рождал противоречи-

вые выводы, ставив исследователей перед проблемами, которые невозможно решить с этих позиций. В их числе наиболее острой оказалась проблема конечных результатов идейных влияний Запада на русскую общественную мысль. Положение о тесной идейной зависимости интеллектуального развития России от европейских социально-политических теорий логически приводило к отрицанию тезиса об «уникальном», «исключительно русском» характере революционного движения в стране, что совершенно не соответствовало идеологическим задачам буржуазной историографии — доказать национальную исключительность Октябрьской революции и большевизма.

Вставал вопрос: если европейские влияния были следствием и составной частью естественного процесса «вестернизации» отсталой страны, какою была Россия, то как в этом случае объяснить тот, говоря словами С. Бэрона, «достаточно парадоксальный факт», что заимствованные социальные теории привели здесь к иным, чем на Западе, последствиям. Почему эти теории не только не способствовали интеграции русской интеллигенции в социальную структуру «вестернизировавшейся» страны, но, напротив, усилили, как полагают буржуазные авторы, ее отчуждение, окончательно противопоставив ее обществу и государству [123].

Следует отметить, что эти противоречия уже давно были подмечены самими буржуазными историками. Так, еще в 50-е гг. Р. Хэйр писал, в частности, что лишь «тупые русские патриоты» (идеологи и адепты самодержавия) пытались утешить себя, изображая революционеров чуждыми национальной почвы, «несчастными жертвами» разлагающего влияния Запада [124]. Варианты иных решений проблемы с целью устранить эти смущающие несоответствия чрезвычайно многочисленны и разнообразны. Однако все они не выходят за пределы ненаучной буржузной методологии и вследствие этого не могут дать удовлетворительного ответа на появляющиеся вопросы.

---

[123] Baron S. Plechanov. The Father of Russian Marxism. Stanford, 1963, p. 3.

[124] Hare R. Portraits of Russian Personalities between Reform and Revolution. London, N. Y., Toronto, 1959, p. 17.

В их ряду заслуживают внимания рассуждения Б. Вольфа, предпринявшего попытку дать более гибкую, «сбалансированную» трактовку проблемы идейных влияний Запада с учетом конкретных социально-политических условий в России.

Вольф отказывается от примитивной интерпретации влияния европейской культуры как простой трансплантации готовых идейных систем на чуждую им почву. «Не только заимствованные институты,— пишет он,— но также заимствованные идеи и доктрины претерпевают радикальные изменения»[125]. По его мнению, инонациональные влияния представляют собой чрезвычайно сложный процесс культурной «имитации», результаты которого определялись не столько источником влияния, сколько спецификой объекта влияния. С помощью этого тезиса Вольф пытается обосновать вывод о якобы в корне отличном способе заимствования русскими инонациональных идей. Согласно его утверждениям в странах Запада, отличающихся сложной социальной структурой (автор называет их «плюралистическими»), такие идеи усваивались творчески, без каких-либо ограничений, во взаимодействии с другими противоречащими им идеями и теориями. По-другому дело обстояло в России, обладавшей характерной только для нее упрощенной социальной структурой. Чужие теории воспринимались здесь выборочно, в отрыве от всего многообразия идейных связей и потому упрощенными. Вырванные из контекста породившей их интеллектуальной и духовной атмосферы, они не могли быть реализованы во всей своей полноте и усваивались обедненно, утилизируясь лишь в качестве решения неверно понятых интеллигенцией своих национальных задач.

В итоге, считает Б. Вольф, заимствованные социальные идеалы (равно как и их идейно-теоретическое обоснование) оказывались искаженными в своей сути. Более того, не соотносясь с потребностями развития «вестернизирующейся» страны, они усиливали социальную отчужденность интеллигенции, поскольку «в буквальном смысле овладевали теми, кто думал владеть ими»[126].

---

[125] Wolf B. Backwardness and Industrialisation in Russian History and Thought, p. 184—185.

[126] Ibidem.

Так, говоря о влиянии «духа мятежной Франции» на воображение «бессильной русской интеллигенции», Вольф замечает, что «с тех пор, как в старой России только начинали мечтать и в мечтах не думали о последствиях, уже не было причин воздвигать прозаические ограничения в своих мечтах» [127].

Таким образом, мы убеждаемся, что рассуждения Вольфа не имеют ничего общего с действительно научным подходом к проблеме идейных связей и влияний. Они понадобились автору лишь для того, чтобы показать своеобразный характер усвоения русской интеллигенцией проникавших в ее среду европейских теорий. Другими словами, Вольф не просто приходит к выводу о слепом заимствовании русскими чужих идей и идеалов, выводу, от которого он, казалось, пытался отмежеваться, но и расцвечивает его националистическими тонами.

Аналогичными оказались конечные результаты не менее сложных построений и М. Малиа, который также пытался дать более объективную (т. е. не столь глубоко извращенную) трактовку проблемы идейных влияний Запада. М. Малиа развивает свою концепцию, анализируя влияние известного немецкого поэта и мыслителя Фридриха Шиллера на русскую общественную мысль 30—40-х гг. XIX в. Отводя Шиллеру необыкновенно большую роль в формировании «ранней русской левой» (В. Г. Белинский, Н. П. Огарев, А. И. Герцен), он утверждает, будто влияние взглядов Шиллера было столь велико, что определило отношение Герцена к буржуазным порядкам Запада и его разочарование в революции 1848 г. во Франции (не воплотившей в жизнь шиллеровские идеалы), кроме того оно объясняет и то, почему либеральные институты Англии, которые Герцен имел возможность так долго наблюдать, не произвели на него должного впечатления. Причина этого, как полагает М. Малиа, заключалась в том, что те, кто находился под чарующим впечатлением шиллеровских идей, уже не могли довольствоваться требованиями одной политической свободы [128].

---

[127] Ibid., p. 178.

[128] Malia M. Shiller and the Early Russian Left. — In: Russian Thought and Politics. Cambridge, 1957, p. 197.

Столь значительное влияние Шиллера (пример того, как чужие идеи становятся руководящими во взглядах деятелей, их воспринявших), по мнению Малиа, объясняется тем, что требование политических свобод облекается у него в нечто «более личностное» и «более абстрактное», сублимируясь в эстетический идеал «прекрасной души» («Die Schöne Seele»), идеал, который был особенно близок «широкой натуре» русского человека [129].

Почему же шиллеровская «комбинация» оказалась так близка «русской левой?» Ответ на этот вопрос Малиа видит в специфике социальной структуры России. Чем дальше на Восток, считает он, тем более централизованным и бюрократическим становится государство. Тем сильнее его давление на личность и больше препятствий для проявления ее независимости. Это обстоятельство, пишет он далее, приводит к тому, что социальный идеал человека становится здесь более абстрактным и отличным от всех других подобных идеалов. Поэтому-то русские радикальные мыслители и находили определение свободы у немцев более родственным, а следовательно, и более приемлемым для себя, чем, например, у французов или англичан. Хотя, оговаривается он тут же, русская радикальная мысль все же «существенно» отличалась от немецкой, поскольку именно немцы создали «великие идеалы», русские же просто заимствовали эти идеалы, так и «не ставшие им родными» [130].

В построениях Малиа, как и Вольфа, характер идейных влияний в России определяется положением интеллигенции в социальной структуре страны — ее отчужденностью от общества и государства. Таким образом, их концепции оборачиваются в итоге лишь очередными упражнениями по части обоснования тезиса о социальной изоляции русской интеллигенции.

Мы убеждаемся, что попытки дать «сбалансированную» трактовку проблемы влияния вовсе не выходят за рамки положения о механическом заимствовании русскими чужих идей и теорий. Абсолютизируя общественную мысль, отрывая ее от конкретного социально-исторического развития страны, буржуазные авторы оказы-

[129] Ibid., p. 174, 198.
[130] Ibid., p. 199, 200.

ваются не в состоянии объяснить возникающие противоречия. В результате они приходят к традиционному в буржуазной историографии выводу о теоретической несостоятельности русской «интеллектуальной элиты» и неспособности ее к творческому усвоению заимствованных теорий.

В данном случае выдвинутый авторами тезис о внутренней подготовленности страны к усвоению заимствованных идей не имеет ничего общего с признанием общественных потребностей, обусловленных уровнем социально-экономического развития, и сводится фактически к идеалистическим рассуждениям о том, что каждая нация тяготеет к своему специфическому комплексу идей. Для России этот комплекс (согласно концепции Малиа) включал склонность к утопизму, к абстрактным, далеким от реальной жизни идеалам.

Более развернутое обоснование тезиса о подверженности русских мыслителей влиянию западных теорий дает американский ученый С. Утехин. Он попытался подкрепить его утверждением о сходстве обычного права России и стран Западной Европы, а также об общности истоков их законодательства, которое он усматривает в римском праве. Эти обстоятельства, по его мнению, обусловили «поразительную похожесть» политического мышления России и Запада и объясняют, почему общественная мысль отсталой в экономическом и культурном отношении страны так тяготела к философским и социальным теориям более развитого Запада [131].

Подобное истолкование связей и взаимодействия различных национальных культур не могло привести к удовлетворительному решению проблемы западноевропейских идейных влияний и устранить все возникающие противоречия, ибо этот подход, подобно всем другим, базируется на последовательном игнорировании социально-экономических основ исторического процесса, оказывающих определяющее воздействие на генезис и развитие социальной мысли и обусловливающих созвучие общественных задач, т. е. ту почву, на которой развертывается взаимодействие разнонациональных идей и теорий.

---

[131] Utechin S. Russian Political Thought. A. Concise History. N. Y., London, 1964, p. XIII.

Расширение интернациональных связей в условиях нарастания темпов революционных преобразований заставляет буржуазных историков все настойчивее искать ответы на вопросы, возникавшие в результате рассмотренной трактовки проблемы западного влияния. В том числе ответ не только на уже указанный нами ранее вопрос о том, почему в России заимствованные теории усиливали социальную изоляцию радикальной интеллигенции, но и на вопрос, почему теории, которые на Западе не привели к победе революции, здесь стали основой революционного преобразования общества. Эти вопросы ставят под сомнение обоснованность прежних историографических концепций и схем, вызывая у буржуазных авторов постоянную потребность в их переосмыслении.

Растущая неудовлетворенность «привычным» истолкованием проблемы, а также освещением революционных событий в России только как следствия влияний революционной идеологии Запада находит свое выражение даже в работах, авторы которых стоят на откровенно реакционных позициях. В частности, Г. Роггер в своих попытках представить Октябрьскую революцию в качестве обособленного уникального явления [132] с целью умалить ее международное значение обращает внимание на недостоточную обоснованность трактовки революции как результата западного влияния. Он полагает, что ее историю невозможно понять, исходя лишь из признания факта влияния общественной мысли Запада, ибо характер революции не может быть осмыслен «только через изучение интеллектуальной истории» [133].

Позиция Роггера весьма симптоматична, она свидетельствует о нарастающем несогласии с традиционной трактовкой проблемы западного влияния, даже в ее «сбалансированной» форме.

Следует подчеркнуть, что было бы неверно связывать обозначившуюся в последнее время потребность в новой интерпретации проблемы идейного влияния Запада только с задачами современной политической практики и

---

[132] Он считает Октябрьскую революцию сугубо «локальной, провинциальной и специфической» (Rogger H. October 1917 and the Tradition of Revolution. — The Russian Review, 1968, v. XXVII, N 4, p. 400, 408).

[133] Ibid., p. 399.

идеологической борьбы. В значительной степени это объясняется и тем, что история духовного развития России изучена в настоящее время буржуазными авторами гораздо полнее, чем полтора-два десятилетия тому назад.

Доказательством этому служит появление целого ряда достаточно глубоких монографических исследований, авторы которых обнаруживают несравненно более обстоятельное знакомство с реальными историческими фактами, чему немало способствует лучшее знание ими работ советских исследователей. Факты же убедительно свидетельствуют о том, что влияние Запада на передовую русскую мысль несомненно. При этом оно шире и вместе с тем не столь глубоко, как трактуют его современные буржуазные авторы. Шире в смысле его неоднозначности. Это сложный и многогранный процесс, предполагающий не простое усвоение идей и теорий Запада, но их творческое переосмысление на основе опыта социально-политической истории и революционной практики как самой России, так и европейских стран.

Революционное движение России и революционное движение Европы всегда были тесно связаны между собою. В частности, декабристы не только интересовались социально-политическими теориями Запада с целью выработки своих программ, но вплоть до восстания 14 декабря 1825 г. обращались и к опыту европейских революций, чтобы наметить тактику революционных действий применительно к условиям своей страны [134].

Хорошо известно также, какую важную роль сыграли, например, теория и практика европейского революционного движения в эволюции идейно-теоретических воззрений А. И. Герцена. Известно, однако, и то, что это оказалось возможным лишь вследствие его настойчивого стремления осмыслить революционные события во Франции, чтобы понять своеобразие своих национальных проблем и найти приемлемые пути их решения. Теория «русского социализма», сформулированная под влиянием революции 1848 г. во Франции, основывалась на той почве русской действительности, какою ее видел

---

[134] См. подробнее: Орлик О. В. Западноевропейские революции 20-х годов XIX в. и декабристы. — Вопросы истории, 1975, № 11, с. 140—153.

и осмысливал сам А. И. Герцен. Поэтому идейная эволюция революционера была органически связана с эволюцией самой России, с ее главными больными проблемами. А. И. Герцен имел полное право сказать: «Сколько ни декларировали о нашей подражательности, она вся сводится на готовность принять и усвоить формы, вовсе не теряя своего характера,— усвоить их потому, что в них шире, лучше, удобнее может развиваться все то, что бродит в уме и в душе, что толчется там и требует выхода, обнаружения» [135].

Факты истории свидетельствуют о том, что связь между революционным движением России и Европы не была односторонней. Русская передовая общественная мысль не только не являлась производной, но внесла немалый вклад в развитие мировой революционной идеологии. При этом по мере совершенствования русской революционной теории все отчетливее обнаруживается ее влияние на революционное движение западных стран. Так, глубокий след в духовной жизни Европы оставили идеологи революционного народничества. Их роль в революционном движении Запада определяется не только мерой непосредственного участия в нем, но и тем, что осмысленный ими опыт мирового исторического процесса и революционной борьбы в современной им Европе способствовал организации революционно-демократических сил России и Запада. Достаточно вспомнить, что деятельный участник Парижской коммуны П. Л. Лавров был также и ревностным пропагандистом ее идей. Его корреспонденции в брюссельской газете «Интернационал», органе бельгийской секции «Международного товарищества рабочих», были первой информацией о парижских событиях в европейской социалистической прессе [136]. Их отличали не только симпатии и сочувствие к великим деяниям коммунаров, но и глубоко реалистические оценки происходящего, которые способствовали научному осмыслению исторического опыта Коммуны ее современниками. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют встречи П. Л. Лаврова (после прибытия

---

[135] Герцен А. И. Письма из Франции и Италии. — Собр. соч., т. V, с. 24.

[136] Лавров П. Л. Избранные сочинения на социально-политические темы. М., 1934, т. 1, с. 449—450.

его в Лондон из осажденного версальцами Парижа) с К. Марксом и Ф. Энгельсом и их несомненная заинтересованность в беседах с ним [137].

В центре многих выдающихся событий истории европейского революционного движения находился М. А. Бакунин. И хотя его деятельность нанесла значительный вред I Интернационалу, нельзя не признать тот вклад, который он внес в критику европейского капитализма и развитие революционно-демократического движения в странах с преобладающей ролью мелкотоварного производства. Популярность Бакунина в кругах европейской революционной демократии, интеллектуальная одаренность и яркий полемический талант сделали этот вклад весьма существенным [138].

Пристально наблюдал ход общественно-политических событий в Европе и изучал ее историю П. Н. Ткачев, отличавшийся особой проницательностью социального видения. Сопоставляя опыт революционных исканий России и Запада, он пришел к глубоко верному выводу об интернациональных истоках и характере социалистических (утопических) теорий. «Социальная истина,— писал Ткачев,— как истина математическая, как и всякая вообще истина, может быть только одна — строго научная, вечная и непреложная; она не изменяется под влиянием каких бы то ни было географических, этнографических и племенных особенностей» [139].

Эти факты подтверждают вывод, давно и убедительно доказанный советскими исследователями, о глубокой самостоятельности русской социально-политической мысли, которая коренилась в реальных условиях самой страны и определялась задачами ее социально-экономиче-

---

[137] См.: Книжник-Ветров И. С. П. Л. Лавров. М., 1925, с. 37.

[138] Итальянский историк Ф. Дамиани отмечает, например, что активное участие М. А. Бакунина в революционном движении Италии и тесные связи с ее радикальными слоями имели «огромное значение» в развитии и распространении здесь утопического социализма и росте революционно-демократического движения в целом (Damiani F. Bacunin nell' Italia Postunitaria. 1864—1867. Anticlericalismo, democraria, questione operaria a contadina negli anni del Soggiorno italiano di Bacunin. Milano, 1977).

[139] Ткачев П. Н. Избранные сочинения на социально-политические темы. М., 1937, т. 3, с. 429.

ского развития. В. И. Ленин писал: «Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы» [140].

Именно на реальной почве русской действительности и в тесном взаимодействии с Западом Россия создала оригинальные социальные теории, которые не были простым слепком западных идей. Отношения России и Запада вовсе не сводились к отношению ученика и учителя. Россия выступала в качестве равноправного партнера в интеллектуальной истории Европы, а ее общественная мысль была неотъемлемой составной частью мировой мысли в целом. В настоящее время в той или иной степени это признают и многие буржуазные авторы.

Лучшее знакомство с историей России вынуждает английских и американских исследователей искать новые концептуальные схемы, способные более адекватно, с учетом выявления исторического материала, объяснить взаимодействие общественной мысли России и Запада. Существенное значение при этом имеет то обстоятельство, что заметно меняются представления буржуазных авторов о русской революционной интеллигенции как таковой, о ее определяющих характеристиках и свойствах.

В связи с тем, что все настойчивее обозначается тенденция квалифицировать революционную интеллигенцию в качестве универсального исторического феномена, русская интеллигенция уже не всегда изображается изолированной сектой, лишенной творческих потенций и импульсов [141].

---

[140] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 8.

[141] См., напр.: Mc Nally R. Chaadaev and his Russian Contemporaries. Tallahassee, 1971; Masters A. Bacunin the Father of Anarchism; Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia. The Quest for a General Science of Society; Riasanovsky N. A Parting of the Weys. Government and the Educated Public in Russia. 1801—1855; Pereira N. The Thought and Theaching of N. G. Chernyshevsky.

Соответственно заметной корректировке подвергается и проблема ее отношений с западноевропейской мыслью. Она ставится в иную плоскость — как проблема взаимовлияния и взаимообогащения, что позволяет исследователям решать ее, в отличие от прежнего, не столь грубо однолинейно. Интерес русской общественной мысли к политическим теориям Запада рассматривается сейчас не как результат простой тяги ко всяким новым теориям, но как проявление стремления к глубокому самостоятельному осмыслению собственных национальных проблем. Суть нового подхода хорошо выражена А. Вусиничем. «Русские,— пишет он,— не были просто имитаторами западной мысли, они существенно перерабатывали западные теории, чтобы приспособить их к специфической реальности истории своей страны» [142].

Следует заметить, что такой подход в большей мере согласуется с попытками буржуазных авторов свести русскую историю XIX в. к процессу «модернизации», который все чаще трактуется не как простое пересаживание европейских институтов на почву России, но как их приспособление к традиционным национальным формам жизни [143].

Естественно, не следует считать, что старые концепции уже полностью изжили себя. В целом ряде работ история русской общественной мысли по-прежнему изображается лишь как история «принятия и впитывания» всего того, что поступало извне [144]. При этом утверждается, что чем более Россия развивалась интеллектуально, тем сильнее она оказывалась восприимчивой к инонациональным влияниям. И все же новая оценка отношения русской общественной мысли к идейно-теоретическому наследию Запада становится все распространеннее. Она основывается на возрастающем понимании универсальности исторического процесса и, соответственно, на осознании того факта, что духовную историю какой-

---

[142] Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia, p. 23.

[143] Подробнее см.: Зырянов П. Н., Шелохов В. В. Первая русская революция в американской и английской буржуазной историографии. М., 1976, с. 11, 12.

[144] Monas S. Introduction. — In: Essays on Russian Intellectual History/Ed. by J. Fuhrman. London, 1971, p. 14.

либо страны невозможно понять до конца, поместив ее лишь в узкие национальные рамки.

Непосредственным выражением этих позитивных сдвигов является признание того, что отношение передовых русских мыслителей к духовному миру и культуре Запада не было однозначным. Нередко принятие западных идеалов и даже восхищение ими сочеталось в русской мысли с негативным отношением к европейским общественным институтам и «формам жизни» [145]. Это обстоятельство уже само по себе исключало возможность слепого, некритического заимствования политических теорий Запада.

Ряд американских и английских авторов все более склонны трактовать взаимоотношения общественной мысли России и Европы как углубляющийся и активизирующийся процесс интеллектуальных и культурных связей, способствовавший росту самосознания русского передового общества и сосредоточению его внимания на своих внутренних проблемах. Вместе с тем отмечается, что эта сосредоточенность на судьбах России не имела ничего общего с узким национализмом, ибо все передовые мыслители России XIX в., независимо от их отношения к Западу, были глубоко «европеизированными» людьми, не только интересующимися, но и хорошо знающими прошлую и современную им историю Европы [146].

Чтобы не впасть в явное противоречие с действительными историческими фактами, буржуазные авторы вынуждены признать, что выдающиеся деятели и теоретики русской революционной демократии А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев, П. Л. Лавров были глубокими и оригинальными мыслителями, обладавшими широкими познаниями и высоким творческим потенциалом. Историки считают их личностями, стоявшими вровень с величайшими мыслителями века и внесшими немалый вклад в мировую науку и культуру. Так, например, по мнению Р. Мак-Нэлли, аргументированно изложенному в его интересном исследовании о П. Я. Чаадаеве (одном из наиболее глубоких и содержательных в современной буржуазной историо-

---

[145] Berlin I. Russian Thinkers. London, 1978, p. 180.

[146] См.: Miller M. Kropotkin. Chicago, London, 1979; Mc Nally R. Op. cit.: Riasanovsky N. Op cit.

графии по истории русской общественной мысли), социально-политические теории западных мыслителей служили П. Я. Чаадаеву, как и его друзьям-славянофилам, лишь отправной точкой для решения своих национальных проблем [147]. Именно поэтому, считает Мак-Нэлли, Чаадаев был наиболее критичен к взглядам тех представителей передовой западноевропейской мысли (Кант, Фихте, Шеллинг), труды которых особенно интересовали его [148].

Талантливым, оригинальным мыслителем, обладавшим тонким историческим чутьем и глубоким пониманием социальных процессов, показан в ряде работ А. И. Герцен. В частности, в книге английской исследовательницы М. Партридж он предстает признанным авторитетом в кругах прогрессивной европейской общественности [149]. При этом решительно отвергается давно и прочно укоренившаяся в буржуазной историографии традиция изображать А. И. Герцена либералом. М. Партридж характеризует его убежденным революционером, понимавшим особенности конкретно-исторической ситуации в России и внесшим большой вклад в развитие мировой социалистической теории [150]. Человеком, богато одаренным, наделенным проницательным и критическим умом, характеризует А. И. Герцена также и Т. Самуэли. Разделяя иронию М. Малиа по поводу «непонятного интереса» Герцена и остальных русских эмигрантов 40-х гг. XIX в. к Западу в ситуации, когда перед ними стояло множество собственных нерешенных проблем, Т. Самуэли признает, что именно наблюдение социально-политической жизни Европы (в частности, событий 1848 г.) привело А. И. Герцена к коренному пересмотру своих ранних посылок. В результате социализм Герцена явился, по его мнению, своего рода синтезом европейских политических концепций и русских национальных теорий [151].

Сходным образом рассматривает вопрос о взаимоот-

---

[147] Mc Nally R. Chaadaev and his Friends, p. 180, 181, 182.
[148] Ibid., p. 195.
[149] Partridge M. Alexander Herzen. His Last Phase. — In: Essays in Honour of E. H. Carr/Ed. by C. Abramsky. London and Basingstoke, 1974.
[150] Ibid., p. 36, 40.
[151] Szamuely Th. The Russian Tradition. London, 1974, p. 201.

ношении общественной мысли России и Европы один из наиболее наблюдательных и объективных исследователей Н. Рязановский. Анализируя русские передовые социально-политические теории XVIII—XIX вв., он приходит к выводу, что Россия всегда была внутренне близкой западноевропейским странам и что ее духовное развитие составляло неотъемлемую часть интеллектуальной истории Запада [152].

Глубокую и интересную оценку А. И. Герцену дает И. Берлин. Он считает, что Герцена следует отнести к великим европейским просветителям, ибо его политические идеи были уникальными не только по русским, но и по европейским стандартам, а его публицистический талант не имел себе равных [153]. Русские передовые деятели, утверждает И. Берлин, могли стать ревностными учениками и последователями европейских мыслителей, но, обратив внимание на свои внутренние проблемы и осознав, что готовые импортированные теории были бы лишь искусственным их решением, направили свои способности на создание новых доктрин применительно к внутренним проблемам России. Так, подчеркивает историк, Герцен решительно восстал против «интеллектуальной славы века», которой аплодировала восхищенная Европа,— доктрины Гегеля и создал свою собственную оригинальную философию [154].

И все-таки попытки нового освещения проблемы не означают полного отказа от старых схем. Как и прежде, отношение к общественной мысли Запада неизменно связывается с некими надуманными своеобразными чертами, приписываемыми русской интеллигенции. Так, в ряде работ интерес русской интеллигенции к передовой мысли Запада ставится в прямую связь с ее особым гипертрофированным влечением к науке и трактуется как непосредственное следствие этого влечения. В частности, американская исследовательница Д. Харди пишет (имея в виду эпоху 60-х гг.), что в условиях, когда становилось «модой» все объяснять с точки зре-

---

[152] Riasanovsky N. Op. cit., p. 264.

[153] Berlin I. Introduction. — In: Alexander Herzen. From the Other Shore. London, 1976; Idem. Russian Thinkers, p. 180.

[154] Berlin I. Russian Thinkers, p. 5.

ния науки и в научных терминах, сам воздух был «напоен интересом к новым тенденциям западной науки» [155].

Авторы, разделяющие вывод об особой приверженности русской интеллигенции к науке, рассматривают идейно-теоретические влияния Запада в качестве отправной точки или своеобразного стимулятора русской общественной мысли, роль которого с особой силой проявилась в начальный период ее становления. Так, Вусинич утверждает, что народничество «впитало» в себя рационализм Канта, эволюционизм Дарвина и историзм Маркса, подчеркивая далее, что именно эти «комбинированные влияния» привели народников к поискам общего и особенного в историческом развитии страны, а в конечном счете — к созданию собственной социологии [156]. Отмечая, что П. Л. Лавров был «ранним гегельянцем», а Н. К. Михайловский «прошел фазу поклонения мысли Прудона», Вусинич заключает, что оба они «скоро поднялись выше этих начальных влияний» и выработали свою оригинальную философию. В целом же, считает он, влияние современной западной мысли было столь велико, что «большинство» русских социологических теорий являли собой лишь либо «эхо», либо результат полемики с нею [157].

Для понимания сути новых тенденций в решении проблемы западных идейных влияний особого внимания заслуживает работа Э. Актона, в которой дано чрезвычайно интересное решение ее на примере анализа взглядов А. И. Герцена. Историк анализирует деятельность А. И. Герцена в самый напряженный период его жизни за границей (1847—1863 гг.). Убежденный революционер и социалист, А. И. Герцен предстает в работе большим гуманистом, творчески одаренной оригинальной личностью, чья духовная биография необычайно драматична и интересна. Страстные этические поиски революционера, глубокая вовлеченность в решение «проклятых вопросов» своего времени, а также его конфронтация с социальной действительностью и общественной мыслью

---

[155] Hardy D. Peter Tkachev. The Critic as Jacobin. Seatle and London, 1977, p. 43.

[156] Vucinich A. Science in Russian Culture, p. 26.

[157] Vucinich A. Social Thought in Tsarist Russia, p. 15, 424.

стран Запада дают основание Актону поместить Герцена в первую шеренгу мыслителей с мировым именем.

Актон в целом правильно ставит проблему места и роли Герцена в общемировом революционном процессе. Он решительно возражает тем исследователям, которые стремятся представить идейно-теоретические воззрения А. И. Герцена «пассивным воссозданием западных идеалов» [158]. Признавая большой интерес русских революционных деятелей к интеллектуальному миру Запада, автор считает, что их идеи и теории не были «простым отражением западной мысли» [159]. «Русская интеллигенция в целом,— пишет он,— заимствовала у западных мыслителей лишь те положения, которые помогали ей решать свои собственные проблемы». В частности, утверждает Актон, те мрачные выводы о «социальной несправедливости» и «нищете», о «необузданном индивидуализме», к которым пришел Герцен, наблюдая Запад и познакомившись с его общественной мыслью, укрепили в нем стремление к солидарности и привели к осознанию противоположности интересов дворянства и крестьянской массы [160].

Однако эти бесспорно верные положения не приводят Актона к правильной трактовке проблемы западного влияния. Будучи неспособным связать мировоззрение и общественный идеал Герцена с российской исторической действительностью, он, естественно, оказался также не в состоянии правильно осмыслить отношение революционера к идейно-теоретическому наследию и социальному опыту Запада. Историк определяет это отношение как следствие своеобразной психологической реакции представителя европеизированной элиты.

Следует сказать, что такой подход впервые довольно явственно наметился у Э. Шилза в его трактовке причин и содержания революционно-народнического движения. Оценивая ориентацию народников на крестьянство, «восхваление» присущих ему качеств, Шилз квалифицирует эти проявления «популизма» как своеобразный «выход» европеизированной интеллигенции из

---

[158] Acton E. Alexander Herzen and the Role of the Intellectual Revolutionary, p. 13.
[159] Ibid., p. 9.
[160] Ibid., p. 9, 11, 12.

своего «внутренного конфликта», вызванного «сложной реакцией притяжения-отталкивания» русской интеллигенции на влияние «западной культуры» [161].

Более развернутое изложение этой точки зрения было дано позже Н. Перейрой, в работе которого особенно отчетливо проявились как новые тенденции в интерпретации проблемы западного влияния, так и старые, давно укоренившиеся схемы. Подчеркивая способность русских радикальных мыслителей к оригинальной творческой деятельности и отмечая их упования на позитивную роль науки, Перейра в традиционном для буржузной историографии духе объясняет появление указанных свойств гипертрофированной верой русской интеллигенции в преобразующую силу идей [162]. Эта вера изображается им буквально граничащей с фанатизмом, мешающим понять относительность человеческого знания и приводящим к переоценке роли и значения социальных наук в историческом процессе [163].

Стремясь обосновать данный вывод, историк утверждает, что убежденность русских радикальных мыслителей в преобразующей социальной роли науки была обусловлена не иррациональностью существовавшего социального порядка в России, а своеобразием положения самой интеллигенции, отчужденной от общества и государства [164]. В этих условиях, считает он, ставший необычайно популярным в Европе середины XIX в. в связи с быстрым развитием наук «социальный неотомизм» приобрел в России особенно прочные позиции. Больше чем в какой-либо другой стране радикально мыслящие слои России уверовали в возможность использования науки как орудия в достижении «рационального строя». Конечным же результатом, согласно его утверждению, было то, что радикальная интеллигенция отсталой страны, какою была Россия, неизбежно становилась «пленником» идеологии передового Запада и, оставляя ученье за порогом жизни, полностью утрачивала связи с самой жизнью [165].

---

[161] Shills E. The Intellectualls and the Power. Some Perspective and Comparative Analisis, p. 48.
[162] Pereira N. Op. cit., p. 15.
[163] Ibidem.
[164] Ibid., p. 16.
[165] Ibidem.

К такому же заключению приходит в своих рассуждениях и Н. Рязановский. Более того, развивая этот вывод о конечной зависимости русской интеллигенции от передовых социальных теорий Запада, он утверждает, что восприимчивость русских к инонациональным влияниям возрастала по мере развития самой русской общественной мысли [166].

Точка зрения, намеченная Э. Шилзом и получившая развитие у Н. Перейры, нашла свое законченное теоретическое обоснование в работах И. Берлина и особенно Э. Актона. Отмечая неоднозначную, двойственную оценку русскими мыслителями интеллектуального и духовного наследия Запада (принятие, даже восхищение им и в то же время отрицание), они определяют такое отношение не как следствие творческого, критического подхода к нему, продиктованного желанием глубже осмыслить собственные социальные проблемы (хотя, как мы видели, это и признается ими на словах), но как своеобразный психологический результат отсталости своей страны [167].

Наиболее четко эта мысль выражена Э. Актоном. Он считает такого рода отношения следствием стремления русской элиты определить собственное место и место России относительно «чужого источника» своей культуры, полагая, что это стремление могло проявиться прежде всего в политическом и социальном национализме. Природу такого национализма Актон квалифицирует как своего рода «защитную реакцию» «вестернизированных» представителей отсталой страны при встрече с «культурным» Западом, проявившуюся во враждебной завистливости русских, возведенной ими в критерий своего личного достоинства [168]. Ибо, иронизирует историк, на деле они защищали не более чем право нации выражать свой «особый гений» всего лишь через признание превосходства Запада [169].

Таким образом, в рассуждениях Актона наиболее отчетливо обнаруживается суть наметившегося в последние годы «нового» решения проблемы западного влия-

---

[166] Riasanovsky N. Op. cit., p. 153.
[167] Berlin I. Russian Thinkers, p. 180—181.
[168] Acton E. Op. cit., p. 27—28.
[169] Ibid., p. 28.

ния. Оно представляет собою на деле лишь перепевы старого мотива извечной отсталости России, определявшей-де собою всю ее духовную историю, в том числе и отношение ее общественной мысли к интеллектуальному наследию Запада.

Теоретико-методологическую основу нового подхода к проблеме попытался раскрыть М. Раев. Сложное, неоднозначное отношение русской интеллигенции к западноевропейской социальной мысли оценивается им как результат противоречий между «культурной вестернизацией» и «институционным традиционализмом» России, обусловивших не только абстрактность ее социальных теорий, но и характер реакции на социальный опыт и политическую мысль Запада [170]. «Отчужденная от своего народа и своего прошлого», русская европеизированная интеллигенция, пишет Раев, не могла «идентифицировать» себя также и с Западной Европой, поскольку последняя не соответствовала ее абстрактному «идеализированному образу будущего» и потому уже «не являлась воплощением ее надежд и стремлений» [171].

Таким образом, все рассмотренные варианты новых трактовок проблемы идейных влияний Запада на Россию представляют собой лишь слегка модифицированные в соответствии с требованием времени старые традиционные схемы. Их смысл сводится в итоге к признанию неспособности русской общественной мысли к самостоятельной творческой деятельности и в силу этого нуждающейся в постоянном воздействии внешних источников для своего развития.

Естественно, что и новый подход приводит исследователей к противоречиям, которые они оказываются не в состоянии понять и устранить в рамках своей концепции. Так, например, Э. Актон, оценивая запечатленное в знаменитых письмах Герцена из Франции и Италии его негативное отношение к западной буржуазии как «аристократическую реакцию» на «суетное, неудобное путешествие среди толп представителей социальных низов», не может, да и не пытается объяснить, на чем же

---

[170] Raeff M. Imperial Russia. Peter I to Nicholas I, p. 128.

[171] Raeff M. Russia's Perception of Her Relationship with the West, p. 263.

в таком случае основывались недвусмысленно выраженные здесь симпатии революционера к пролетариату [172].

Мы убеждаемся в итоге, что общая идейно-методологическая ограниченность концепций буржуазных исследователей, игнорирование ими классово-исторической обусловленности общественной мысли и, как следствие, абсолютизация ее, а также переоценка роли неких надуманных национальных традиций приводят к тому, что при отдельных правильных догадках и наблюдениях они не способны решить проблему западного влияния.

Справедливо отрицая роль инонациональных идейных влияний как главного источника, обеспечивающего динамизм и поступательное развитие русской социальной мысли, историки не видят (или намеренно игнорируют) действительные факты, обусловливавшие это развитие, и поэтому оказываются не в состоянии правильно осветить вопрос об отношении русских мыслителей к идейно-теоретическому наследию Европы.

---

[172] Acton E. Op. cit., p. 26.

МЕСТО И РОЛЬ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДЕМОКРАТИЗМА В ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ БУРЖУАЗНЫХ ИСТОРИКОВ
(Вместо заключения)

В пестром многообразии концепций русского революционного демократизма, созданных английской и американской буржуазной историографией, прослеживаются два основных течения, особенно отчетливо обозначившиеся в оценке его исторического места и социальной роли. Одни авторы, выступающие с откровенно реакционных позиций (Б. Вольф, М. Фейнсод, Л. Хэймсон, Р. Дэниельс, Л. Шапиро, С. Томпкинс, Р. Пайпс, А. Улам и др.), изображают представителей русской революционной интеллигенции фанатиками, которыми двигало «чувство мессии»; они склонны считать ее приверженность к социальным идеям не более чем симптомом умственной или нравственной патологии и поэтому полагают, что ее теоретическая и практическая деятельность была изначально ошибочной по своему содержанию и даже антисоциальной. Обделенная собственными оригинальными идеями и искажающая заимствованные на Западе теории, смысл которых она оказывалась понять не в состоянии, русская революционная интеллигенция как исторический феномен, по их мнению, вообще не представляла особого интереса. Если она и привлекает внимание историков, то лишь в связи с тем, что сыгранная ею историческая роль была сугубо деструктивной в социальном плане, поскольку она своею деятельностью «вымостила дорогу» к революции, предопределив тем самым весь последующий ход русской истории.

Сторонники другого, более объективного подхода (И. Берлин, Э. Карр, Э. Актон, Р. Мак-Нэлли, А. Вуснич, Д. Харди, Н. Перейра, Е. Лэмперт и др.), напротив, утверждают, что русская передовая интеллигенция заслуживает не только внимания, но и признания, поскольку

она внесла весьма заметный вклад в мировую историю духовного развития. Ее страстная приверженность к нравственно-этическим идеалам рождала почти религиозные стремления к поискам истины, приводившие нередко к «пророческим» проникновениям в великие проблемы своего времени. Однако эти авторы, как и представители первого течения, считают, что, будучи лишена реальной социальной и политической почвы в своей стране, интеллигенция оказывалась неспособной к объективному рациональному решению собственных национальных общественных задач.

Отмеченные течения довольно отчетливо выкристаллизовались в рассматриваемой нами историографии сравнительно давно. Со временем лишь существенно менялось реальное соотношение между ними. Так в 50—60-е гг. явно доминировал откровенно реакционный, грубо извращающий действительную природу и содержание революционно-демократического движения подход. Он более соответствовал политической ситуации времен «холодной войны», а также состоянию изученности проблемы, когда особенно большое влияние в буржуазной историографии имели откровенно политически ориентированные белоэмигрантские концепции и схемы, в основе которых лежали веховские идеи.

В последующие годы все более набирало силу второе течение, отличающееся более объективным подходом к исследуемой проблеме. Как и первое, оно в своем существенном содержании в той же мере обусловлено стоящими перед буржуазными идеологами политическими задачами, решение которых значительно усложняется в новых исторических условиях и вследствие этого требует более убедительного, чем прежде, обоснования путем более адекватного освещения прошлого.

Таким образом, эти две противоборствующие тенденции в освещении западными авторами истории русского революционного демократизма выступают следствием объективных потребностей современного буржуазного общества, диктующих повышение социальной активности исторической науки. В равной мере они — суть отражения самой логики развития исторического знания, столь же тесно связанного с запросами и потребностями господствующего социального порядка. Поэтому исход противоборства между двумя указанными течениями

трудно предсказуем, поскольку зависит от различных привходящих факторов, хотя и укладывающихся в рамки главных социально-политических задач современного буржуазного общества.

Общая идеологическая направленность сближает приверженцев того и другого течения в решении проблемы исторического места русского революционного демократизма. Они сходятся в обосновании одного и того же положения, смысл которого заключается в том, что социальные идеалы революционной демократии, равно как и их идейно-теоретическое обоснование, были изначально лишены исторической почвы и потому являлись недемократическими и утопическими, не отражающими интересов и чаяний народа России. В обоих случаях социально-политические теории революционной демократии трактуются лишь как выражение волюнтаристски-релятивистских представлений интеллигенции о социальной реальности как о чем-то целиком и полностью зависящем от воли и желания человека.

Это бездоказательно конструируемое буржуазными авторами «своеобразие» передовой общественной мысли России XIX в. представляется ими одной из главных идейных традиций, обусловливавших развитие русского революционного движения на протяжении всей его истории и связывавших это движение в единое целое.

В русле таких надуманных трактовок русских революционных традиций рассматриваемые авторы анализируют происхождение ленинизма, стремясь ограничить его историческое значение узкими национальными рамками. Используя неоспоримый факт, что исторический опыт революционной демократии действительно помог передовым деятелям России «выстрадать» правильную революционную теорию, осветившую большевикам путь борьбы и способствовавшую победе Великой Октябрьской социалистической революции, буржуазные авторы силятся обосновать тезис о тесном генетическом родстве и полной преемственности между идейно-теоретическим наследием революционеров-демократов и ленинской революционной теорией. Таким образом, они пытаются представить ленинизм в качестве одной из многочисленных теоретических моделей социализма, наиболее недемократической и потому менее всего желательной.

Не отрицая творческое развитие В. И. Лениным марксизма и признавая марксизм не просто как политическую доктрину, но как «нечто, существующее в реальности» [1], они пытаются доказать, будто вклад Ленина представлял собой что-то принципиально отличное, не вписывавшееся в марксистскую теорию исторического процесса. Так, известный американский советолог А. Улам считает одной из важнейших проблем современности проблему выяснения того, «какого рода марксизм существует в Советском Союзе» [2]. По мнению Н. Хир, ленинскую интерпретацию марксизма нельзя свести просто к «апологии во имя тактических решений». Ленин, считает она, фактически «заново переписал» марксизм, доказывая в духе русской интеллектуальной традиции, что «историческое движение рождается скорее как политическое, нежели экономическое» [3]. Конкретное приложение этот вывод нашел, согласно утверждению буржуазных авторов, в большевистской теории и практике революционной борьбы. Сводя ленинскую теорию революции к одной из ее составных частей — учению о партии и извращая его подлинное содержание, которое усматривается в признании партии единственной творческой силой революции, они утверждают, что в ленинизме наиболее четко проявилась сектантская традиция русской революционной мысли, воплотившаяся затем в Октябрьской революции [4].

Хорошо известно, как именно буржуазная историография определяет свое отношение к этому величайшему событию XX в. Оно выражается в тезисах о случайном захвате власти, верхушечном перевороте, в котором массы либо не участвовали вовсе, либо являлись «жертвой» пропаганды левых. В связи с этим наиболее распространенным приемом истолкования победы Октябрьской революции была и остается попытка объявить революцию результатом волюнтаристских действий большевиков, и прежде всего В. И. Ленина, якобы поставивше-

---

[1] Ulam A. The Unfinished Revolution. An Essay on the Sources of Influence of Marxism and Communism. N. Y., 1960, p. 10.

[2] Ibidem.

[3] Heer N. Politics and History in the Soviet Union. Cambridge, 1971, p. 6.

[4] Meyer A. Leninism. Cambridge, 1957, p. 19.

го народ России, дезорганизованный войной и лишенный способности к сопротивлению, перед актом насильственной ломки старого социального режима. В обосновании этого тезиса состоял, например, лейтмотив всех докладов на международном симпозиуме, организованном в апреле 1964 г. Русским исследовательским центром при Гарвардском университете [5].

Отсюда следует, что ленинизм как воплотившаяся в практику революционная теория существенным образом отличается от марксизма. Это отличие, согласно утверждению большинства рассматриваемых исследователей, коренится в укреплении и развитии национальных традиций, присущих русской революционной мысли домарксистского этапа. Поскольку одна из них заключалась в утопизме социальных идеалов, их полной оторванности от реальной исторической почвы, то осуществление этих идеалов оказывалось возможным только путем насильственного переворота.

Идея неизбежности устранения социальных противоречий с помощью радикальной ломки существовавшего режима, сформулированная в русской общественной мысли еще в дореформенный период и нашедшая затем широкое обоснование в теории и практике революционного демократизма, явилась, по мнению буржуазных ученых, другой важнейшей традицией русского радикального общественного движения. «Эмоциональная сила идеи «революции»,— пишет Р. Дэниельс,— была одним из всепоглощающих факторов русской традиции» [6].

Убежденность в революционном пути решения социальных противоречий как единственно верном и явилась, по мнению буржуазных исследователей, тем главным звеном, которое связало ленинскую теорию революции с марксизмом. Таким образом, согласно их концепциям, ленинизм воспринял в марксизме лишь то, к чему оказался наиболее подготовленным,— положение об исторической неизбежности социалистической революции, но совершенно игнорировал в то же время тезис о

---

[5] Материалы симпозиума опубликованы в отдельном сборнике под названием «Революционная Россия» (см.: Revolutionary Russia/ Ed. by R. Pipes. Cambridge, 1968).

[6] Daniels R. Lenin and the Russian Revolutionary Tradition.— In: Russian Thought and Politics. Cambridge, 1957, p. 344, 349.

детерминированности революции зрелостью социально-экономических предпосылок как непременном условии ее победы и тем самым исказил суть и дух марксизма.

А. Мейер в работе с весьма выразительным заглавием «Ленин: пролетарская революция должна быть осуществлена неизбежно» утверждает, в частности, что для В. И. Ленина «соль» марксизма заключалась прежде всего «в непрестанном стремлении к революции», а быть марксистом — означало принять «аксиому моральной и действительной неизбежности пролетарской революции»[7]. То же утверждает Р. Дэниельс, заявляя, будто В. И. Ленин лишь на словах провозгласил себя марксистом, оставаясь «русским революционером в душе и сердце»[8]. Другими словами, русские социал-демократы нашли в марксизме теоретическое обоснование своим специфическим национальным традициям, и поэтому он оказался для них наиболее подходящей и удобной теорией.

В оценке буржуазными авторами Октябрьской революции как заговора меньшинства нельзя не видеть определенной последовательности. Она логически вытекает из отрицания ими объективной закономерности общественного развития как радикальной ломки устаревших социальных форм, неприятия принципа повторяемости в историческом процессе. Тем настоятельнее с течением времени встает перед буржуазными идеологами и обществоведами задача более убедительно обосновать вывод о том, что революция была случайным событием, не связанным с действительными социальными потребностями и устремлениями народа.

Задача эта становится все сложнее, ее решение требует более обстоятельной аргументации, поскольку ход мировых событий приносит все новые неопровержимые свидетельства в пользу признания революции закономерной, исторически обусловленной формой социального прогресса. В этой связи отнюдь не случайным является тот факт, что все без исключения исследования современных буржуазных авторов преследуют одну цель — отыскать новые, более убедительные доказатель-

---

[7] Meyer A. Lenin: Proletarian Revolution has to be made Inevitable. — In: Imperial Russia after 1861. Boston, 1961, p. 18.

[8] Daniels R. Op. cit., p. 350.

ства для обоснования тезиса о недемократическом характере октябрьских событий. Поскольку же эта цель заведомо обречена и, следовательно, задача неразрешима, они вынуждены проявлять необыкновенную активность и изобретательность (не гнушаясь и откровенно фальсификаторских приемов), чтобы доказать недоказуемое.

В ряду такого рода приемов главную роль играет стремление буржуазных ученых обосновать вывод об отсутствии принципиальных отличий ленинизма от революционного демократизма и прежде всего от его народнического этапа, непосредственно предшествовавшего социал-демократическому движению. Характеризуя социальные идеалы революционной демократии как лишенные реального исторического содержания утопические прожекты, они стремятся доказать идейно-теоретическую преемственность ленинизма и революционного демократизма и дискредитировать ленинизм, изобразив его столь же утопичной, основанной на ненаучных субъективистских посылках революционной теорией. Главной целью авторов становится задача представить деятелей русского радикального движения с их «неразумной ненавистью» к существовавшему строю и тяготению к негуманным насильственным методам борьбы прямыми предшественниками Ленина и большевиков [9].

Особенно большое внимание буржуазных историков в связи с этим привлекает П. Н. Ткачев. Им представляется заманчивым найти во взглядах этого крупного теоретика народнического движения, яркого представителя бланкистского направления, нечто общее с ленинизмом и попытаться убедить читателя в приверженности большевиков к недемократическим, заговорщическим методам борьбы. Во всех без исключения работах английских и американских авторов о Ткачеве внимание сфокусировано на доказательстве того, что он предопределил большевизм по целям и средствам революцион-

---

[9] См., напр.: Barghoorn F. Nihilism, Utopia, and Realism in the Thought of Pisarev. — In: Russian Thought and Politics. Cambridge, 1957, p. 231; Pravdin M. Unmentionable Nechaev. Key to Bolshevism. London, 1961, p. 121; Bachman J. Recent Soviet Historiography of Russian Revolutionary Populism. — Slavic Review, 1970, N 12, p. 599.

ной борьбы [10]. Выводы, к которым приходят авторы этих работ, весьма недвусмысленны. «Деятели, подобно Ткачеву, Нечаеву и... Писареву,— пишет, например, И. Берлин,— чьи последователи известны как нигилисты, предвосхитили Ленина в своем презрении к демократическим методам» [11]. Ту же мысль мы находим у В. Фишмэна. «Совершенно очевидно,— утверждает он,— что Ленин руководствовался традициями домарксистского бланкизма, популяризатором которого в России был Ткачев» [12].

Обращает на себя внимание, что с течением времени оценка места и роли Ткачева не меняется. Показательно при этом, что она остается неизменной не только в работах историков, занимающих явно реакционную позицию [13], но и у авторов, которых можно причислить к числу более объективно настроенных исследователей [14].

Заслуживает быть отмеченным, что в последних исследованиях о Ткачеве в полной мере проявилась тенденция, характерная для буржуазной историографии русской общественной мысли в целом, а именно: значительное расширение круга привлеченных источников и литературы. При этом если раньше буржуазные авторы основывались в своих обобщающих построениях преимущественно на выводах историков-белоэмигрантов, а из работ советских исследователей использовали лишь вышедшие в 20—30-е гг., то в последнее время литературу такого рода заметно потеснили труды современных советских историков. Не столь односторонне и выборочно, как прежде, изучаются труды самого П. Н. Ткачева.

---

[10] О содержании работ свидетельствуют их весьма выразительные названия: Фишмэн В. Петр Никитич Ткачев — наставник большевизма (Fishman W. Peter Nikhitich Tkachev — Tutor of Bolshevism. — History to day, 1965, v. 15, N 2, p. 118—127); Уикс А. Первый большевик. Политическая биография Петра Ткачева (Weeks A. The First Bolshevik. A Political Biography of Peter Tkachev. N. Y., 1968); Харди Д. Ткачев и марксисты (Hardy D. Tkachev and Marxists. — Slavic Review, 1971, N 3, p. 22—34).

[11] Berlin I. Introduction to: Ventury F. Roots of Revolution. N. Y., 1966, p. XIII.

[12] Fishman W. Op. cit., p. 125, 127.

[13] См., напр.: Ulam A. In the Name of the People. N. Y., 1977.

[14] См., напр.: Hardy D. Peter Tkachev. The Critic as Jacobin. Seatle, 1977.

Все это позволило авторам последних работ о П. Н. Ткачеве полнее и глубже изучить его взгляды и сделать правильные выводы по некоторым частным вопросам. И все же то новое, что проявляется в этих исследованиях, вполне укладывается в русло развития всей буржуазной историографии. Отмеченные новации не меняют общей историографической картины, основные выводы буржуазных ученых остаются прежними. Тем не менее представляется интересным на конкретном примере исследования буржуазными авторами взглядов Ткачева проследить, как менялась со временем система доказательств в обосновании тезиса о генетической преемственности теории революции В. И. Ленина и воззрений революционной демократии.

Первым, кто попытался представить П. Н. Ткачева в качестве предшественника Ленина, был М. Карпович, опубликовавший в 1944 г. статью под весьма интригующим названием «Предшественник Ленина: П. Н. Ткачев» [15]. По мнению Карповича, Ткачев представляет собою чрезвычайно интересную фигуру для исследователя. И не только потому, что первый выступил с программой «прямого штурма» правительства силами революционного меньшинства, но потому, главным образом, что дал развернутое теоретическое обоснование своей программе, заимствованное позже в его существенной части большевиками [16]. Стержневой в статье Карповича была мысль о том, что В. И. Ленин многое взял от «домарксистской революционной традиции». Дополнив заимствованными положениями марксизм («привив» их к марксистской теории) и тем самым существенно исказив его, он создал таким образом свою, отличную от марксистской революционную теорию [17].

Статья Карповича не лишена отдельных заслуживающих внимания наблюдений. Так, он считал несостоятельной оценку Ткачева как первого русского марксиста, данную советскими историками 20—30-х гг., в частности М. Н. Покровским и Б. П. Козьминым. Однако верно ссылаясь на коренное отличие историко-философской

---

[15] Karpovich M. A. Forerunner of Lenin: P. N. Tkachev. — Reviev of Politics, 1944, v. 6, N 3, p. 336—350.

[16] Ibid., p. 336.

[17] Ibid., p. 337.

концепции русского революционера от теории исторического развития К. Маркса, даже противопоставляя их взгляды, Карпович в то же время пытался не просто сблизить, но и отождествить идейные позиции Ткачева и Ленина, чтобы доказать прямое родство их революционной стратегии [18]. Ее коренная суть обнаруживается, по мнению историка, прежде всего в идее «превентивной» революции, осуществляемой в условиях, когда капитализм еще не успел пустить свои корни в русскую почву и, следовательно, буржуазия еще не стала экономически и политически господствующей силой [19].

Нетрудно понять, что в основе всех построений Карповича лежало отрицание исторической обусловленности социалистической революции в России, стремление представить ее плодом волюнтаристских взглядов и действий, присущих всему русскому революционному движению. При этом бланкизм, представлявший собою одно из течений в движении революционного народничества, искусственно трактовался в качестве доктрины, господствовавшей в революционной идеологии на протяжении ряда десятилетий начиная с 60-х гг. XIX в.

Положения Карповича становятся отправными и получают дальнейшее развитие во всех последующих исследованиях о П. Н. Ткачеве. Среди них заслуживают быть особо отмеченными уже упомянутые работы В. Фишмэна и А. Уикса. Названные авторы берут исходным моментом как «раз и навсегда доказанный» вывод Карповича о тесном генетическом родстве революционной стратегии Ленина и Ткачева, по-разному варьируя этот ставший в современной буржуазной историографии основополагающим тезис.

Согласно, например, утверждениям В. Фишмэна, П. Н. Ткачев, будучи первым адептом и популяризатором марксизма в России, явился важнейшим звеном в цепи «великих мятежников» от Бабефа до Ленина [20]. Эту роль своего рода передаточного механизма в революционном элитаризме как самой яркой русской революционной традиции, нашедшей свое наиболее полное практическое воплощение в Октябрьской революции,

---

[18] Ibid., p. 350.
[19] Ibid., p. 347.
[20] Fishman W. Op. cit., p. 127—128.

П. Н. Ткачев выполнил благодаря признанию им экономической теории К. Маркса [21], что будто бы и позволило позже В. И. Ленину взять на вооружение его революционную концепцию, приспособив ее к новым историческим условиям.

Нельзя не отметить, что Фишмэн в данном случае явно пошел назад в сравнении с Карповичем, откровенно фальсифицируя действительные факты, чтобы подогнать их под заданную схему. Хорошо известно, что трактовка П. Н. Ткачевым процесса исторического развития, его движущих сил не имеет ничего общего с философско-историческими взглядами К. Маркса. Словесное признание Ткачевым того, что в основе исторического процесса лежит экономический фактор, отнюдь не означало действительного принятия им исторического материализма. Это убедительно показано в статьях Ф. Энгельса из серии «Эмигрантская литература», написанных в плане полемики с Ткачевым [22]. Развенчивая революционную теорию П. Н. Ткачева, отвергая его уверенность в возможности легкой скорой социалистической революции, Энгельс подчеркивал, что эта необоснованная и опасная иллюзия была порождена ненаучными идеалистическими представлениями о сути общественно-исторического процесса, представлениями, не имеющими ничего общего с материалистическим пониманием истории [23].

Попытка дать более развернутую и обстоятельную аргументацию ошибочному положению о тесном родстве революционной теории В. И. Ленина и П. Н. Ткачева предпринята в работе американского историка А. Уикса [24], которая заслуживает более подробного рассмотрения. И не только потому, что, как отмечается в редакционном введении к ней, она является первым в западной литературе монографическим исследованием о П. Н. Ткачеве [25] и в целом положительно оценена бур-

---

[21] Ibid., p. 119.

[22] См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 18, с. 522.

[23] Эти ошибочные взгляды, писал Энгельс, создавали ложную надежду на то, будто революции вообще «можно делать по заказу, как кусок узорчатого ситца или самовар» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 18, с. 547, см. также с. 537—538, 544).

[24] Weeks A. Op. cit.

[25] Ibid., p. V.

жуазными исследователями [26], но и потому прежде всего, что в ней наиболее рельефно и законченно выражены господствующие в современной буржуазной историографии тенденции в освещении исторического места революционного демократизма.

Уикс идет гораздо дальше своих предшественников, в том числе М. Карповича, которого называет своим учителем [27]. Он утверждает, что идеи Ткачева не только во многом предопределили ленинскую теорию социалистической революции, но и стали руководящими во всей внутриполитической жизни советского государства на протяжении его более чем полувековой истории [28]. Мысль эта проходит красной нитью через всю работу А. Уикса.

Как и подавляющее большинство исследований, проведенных в 50—60-е гг., книгу А. Уикса отличают узкая источниковая база и поверхностное знакомство с литературой по проблеме [29]. Это обусловило неточное и небрежное изложение им фактов и событий [30], большое число описок в именах, названиях, транслитерации [31].

Вместе с тем в работе Уикса содержится ряд верных выводов и наблюдений, придающих ей до некоторой степени (по крайней мере чисто внешне) объективный характер. Так, отказавшись от распространенной в зару-

---

[26] См.: Hardy D. Tkachev and Marxists. — Slavic Review, 1970, N 3, p. 22 и рец. Н. Рязановского (Slavic Review, 1969, N 5, p. 331—332).

[27] Он отмечает, что интерес к Ткачеву возник у него «после прочтения и обдумывания» упомянутой нами статьи Карповича (Weeks A. Op. cit., p. VII).

[28] Ibid., p. 191—192.

[29] Уикс лишь выборочно ссылается на работы самого Ткачева, а из работ советских исследователей о нем использует только те, что были опубликованы в 20—30-е гг. Более того, он беззастенчиво утверждает, что в библиотеке им. В. И. Ленина нет ни одной работы советских историков, кроме ранних работ Б. П. Козьмина, и ни одного из шести томов сочинения самого Ткачева (Ibid., p. 186).

[30] Примером является утверждение Уикса о том, что высылка Ткачева в Великолуцкий уезд Псковской губернии навсегда разлучила его с женой, участницей народнического движения А. Д. Дементьевой. В действительности же она добилась перевода из места своей ссылки (Новгород) в место ссылки мужа, а позже вслед за ним уехала за границу.

[31] На это обращает внимание в своей рецензии Н. Рязановский (Slavic Review, 1969, N 5, p. 331).

бежной буржуазной литературе трактовки русской революционной идеологии в качестве результата прямого заимствования западных идей, американский ученый вопреки утверждениям многих других исследователей (в том числе Карповича) не склонен рассматривать Ткачева как простого последователя О. Бланки. По его мнению, взгляды Ткачева глубоко национальны. Концепция политического заговора, утверждает историк, укрепилась в России со времени декабристов и в революционной теории Ткачева слилась с волюнтаристскими тенденциями, ведущими свое начало от революционно-демократической мысли 60-х гг.[32]. Далее эта традиция идейной преемственности нашла свое продолжение в ленинизме, который-де оказался, по сути, лишь повторением основных положений революционной теории П. Н. Ткачева[33].

В отличие от Фишмэна Уикс, как и Карпович, не пытался преуменьшить различия во взглядах К. Маркса и П. Н. Ткачева. Он безусловно прав, когда утверждает, что разногласия между К. Марксом и Ф. Энгельсом, с одной стороны, и П. Н. Ткачевым — с другой, нельзя сводить только к тактическим вопросам революционной борьбы в России, но что следует прежде всего учитывать совершенно разное понимание ими сути исторического процесса. Испытывая известное влияние марксизма и признавая формально экономическую детерминированность общественно-исторического развития, Ткачев, как правильно отмечает Уикс, оставался на позициях недиалектического, вульгарно-экономического материализма и понимал роль экономического фактора лишь как «гаранта» революционных устремлений[34].

Однако эти верные положения отнюдь не служат Уиксу основанием для правильного освещения вопроса о месте Ткачева, как и всего революционного народничества, в истории русского общественно-революционного движения. Они потребовались ему лишь для того, чтобы извратить суть ленинизма, поместив его в русло главной русской революционной традиции — традиции заговора. Оторвав ленинизм от марксизма и объявив

---

[32] Weeks A. Op. cit., p. 27—28, 31.
[33] Ibid., p. 168.
[34] Ibid., p. 128—129.

Ткачева «первым большевиком», Уикс тщится представить Ленина не продолжателем дела Маркса, но прямым последователем Ткачева. Согласно его утверждению, признание Ткачевым, хотя и чисто формальное, экономического материализма дало возможность В. И. Ленину «оживить» и «укрепить» бланкистскую тенденцию в русской революционной мысли, дополнив ее «более разработанным», научным социализмом, и таким образом создать свою, в корне отличную от марксизма революционную теорию [35].

В результате, считает Уикс, Ленин оставался марксистом лишь на словах, действительную же суть его революционной теории составляла традиция старого русского заговора. Поэтому, утверждает он далее, главные принципы теории и практики большевизма (требование создания централизованной революционной организации и твердого, осознанного курса послереволюционных преобразований общества на социалистических началах) представляли собой не что иное, как развитие основных теоретических положений Ткачева, базировавшихся на идеалистической волюнтаристской трактовке исторического процесса [36].

Важнейшим из этих положений, составляющих основу всех других, был вывод о возможности для России миновать стадию капиталистического развития путем осуществления «превентивной» революции, которая бы предотвратила дальнейшее развитие буржуазии и этим облегчила социалистическую перестройку общества. «Концепция превентивной революции,— читаем мы в работе Уикса,—...предвосхитила подобное ленинское учение о том, что ждать — значит затруднить победу социалистической революции, если не сделать ее невозможной вообще» [37]. По мнению автора, мысль Ткачева об организации немедленной революции, пока государство «висит... в воздухе», не успев еще обрести моральную и материальную силу, нашла свое логическое завершение и «домашнее приложение» в ленинском выводе о «слабом звене» в цепи империалистических держав [38].

---

[35] Ibid., p. 32.
[36] Ibid., p. 127.
[37] Ibid., p. 109.
[38] Ibid., p. 86, 106.

Итак, Уикс пошел дальше своего учителя. Если Карпович считал, что ленинизм явился результатом «привития» к марксизму отдельных положений народничества, то Уикс утверждает, будто в основе ленинизма лежала народническая революционная теория, дополненная некоторыми выводами Маркса. В рассуждениях американского ученого мы сталкиваемся с непониманием (или, скорее, намеренным извращением) истории развития социалистической мысли в целом, с отрицанием коренных различий между утопическим и научным социализмом и откровенной фальсификацией ленинской мысли. В них полностью игнорируется принципиальное отличие революционных теорий Ленина и Ткачева, заключающееся в совершенно разной трактовке условий осуществления и движущих сил социалистической революции.

В представлении Ткачева революция являлась волюнтаристским актом, воплотившимся в идее политического заговора как начального этапа революционных преобразований, успех которого определялся политической слабостью правительственной власти (пресловутый тезис о «висящем в воздухе» самодержавии) и наличием организованного, сплоченного революционного меньшинства. В ленинской же теории победа революции обусловливалась прежде всего развитостью социально-экономических противоречий капиталистического общества и наличием политически зрелого революционного класса — пролетариата. Вследствие этого теория «слабого звена» у Ленина имеет совершенно иной смысл, нежели упомянутая идея Ткачева о непрочности правящей власти. Она явилась выводом из всестороннего анализа капитализма как мировой системы, ее противоречий, возникающих на империалистической стадии, в то время как концепция Ткачева основывалась на неверном понимании и толковании им своеобразия социально-политической ситуации в пореформенной России, заключавшейся, по его мнению, в оторванности государства от всех классов и слоев русского общества.

Произвольно манипулируя известными фактами, свидетельствующими о большом интересе В. И. Ленина

к взглядам П. Н. Ткачева [39], а также руководствуясь собственными домыслами на этот счет (например, говорится о сходстве названий работ Ленина и Ткачева и на этом основании делаются выводы об идентичности их содержания) [40], Уикс подменяет поверхностными, а чаще надуманными аналогиями действительно научный сравнительный анализ содержания революционных воззрений В. И. Ленина и П. Н. Ткачева, возможный единственно лишь на основе выявления их классовой природы. Только такое исследование, учитывающее коренные социально-экономические перемены, происшедшие в России в последней четверти XIX—начале XX вв. и сыгравшие решающую роль в развитии социализма «от утопии к науке», дало бы возможность выяснить подлинное место П. Н. Ткачева, как и других идеологов революционно-демократического этапа борьбы, в истории русского освободительного движения.

Софизмы Уикса, пытающегося игрой в термины подменить глубокий объективный анализ изучаемых явлений, свидетельствуют не только о вполне определенной политической направленности его построений. В равной мере они суть выражение научной несостоятельности его исследования, обусловленной порочностью методологических установок историка.

Мы не случайно подробно остановились на книге А. Уикса. В ней особенно полно отразились политические устремления и идейно-методологические пороки, свойственные современным буржуазным исследователям русской революционно-демократической мысли.

Сходную позицию занимает американская исследовательница Д. Харди. В серии работ, посвященных П. Н. Ткачеву [41], она, как и А. Уикс, ставит своей зада-

---

[39] Уикс ссылается, в частности, на воспоминания В. Д. Бонч-Бруевича, где говорится о том, что В. И. Ленин настойчиво рекомендовал своим соратникам читать работы П. Н. Ткачева и других идеологов народнического движения (см.: Бонч-Бруевич В. Д. Избранные сочинения. М., 1961, т. 2, с. 314—315, 316).

[40] Weeks A. Op. cit., p. 100—101.

[41] Hardy D. Tkachev and Marxists; Idem. Consciousness and Spontaneity. 1875: The Peasant Revolution, seen by Tkachev, Lavrov, and Bakunin. — Canadien Slavic Studies, 1970, v. IV, N 4, p. 703—716; Idem. The Lonely Emigry. Peter Tkachev and Russian Colony in Switcerland. — The Russian Review, 1976, v. 35, N 4, p. 400—416; Idem. Peter Tkachev. The Critic as Jacobin. Seattle, 1977.

чей доказать коренную противоположность теоретических воззрений Ткачева и Маркса. Еще более решительно Харди возражает тем исследователям, которые считают Ткачева первым русским марксистом. Признавая кажущуюся близость философско-исторических воззрений Ткачева историческому материализму Маркса, она отмечает принципиальные различия между ними и подчеркивает, что тем более далекой от марксизма была революционная теория Ткачева [42]. На первый взгляд создается впечатление, что Харди действительно пытается дать научный анализ взглядов Ткачева, для чего она обращается к их истокам, уходящим в революционное движение 60-х гг.,— периоду начала его революционной деятельности. Однако главная цель этого экскурса, как выясняется в итоге, заключается в том, чтобы на примере революционной теории и деятельности Ткачева как можно доказательнее обосновать мысль о строгой приверженности русских революционеров (включая и Ленина) к зародившейся в те годы сектантской заговорщической традиции. Это убедительно подтверждается авторской сентенцией, что, проживи Ткачев дольше, «он стал бы сотрудничать с Лениным» [43].

Все рассмотренные здесь работы объединяет одна общая черта — стремление доказать внутреннее родство ленинизма с революционно-демократической идеологией посредством обоснования заведомо ложного тезиса об идентичности революционной теории В. И. Ленина и П. Н. Ткачева. Наиболее распространенным аргументом, к которому при этом прибегают исследователи, является интерес Ленина к идейно-теоретическому наследию Ткачева, как, впрочем, и других идеологов революционной демократии. Однако действительно большой и неоспоримый интерес В. И. Ленина и его соратников к теориям идеологов освободительного движения революционно-демократического этапа (включая народничество) свидетельствует вовсе не о том, что тщетно пытаются доказать буржуазные авторы.

Этот интерес был вызван отнюдь не просто желанием русских марксистов заимствовать революционно-де-

---

[42] Hardy D. Tkachev and Marxists, p. 34.
[43] Hardy D. Peter Tkachev. The Critic as Jacobin, p. 340.

мократические теории, но явился следствием их стремления глубоко осмыслить эти теории, чтобы лучше понять отразившиеся в них реальные социально-экономические процессы. Остро стоящая перед русскими марксистами задача выработать правильную научную революционную теорию обязывала их не просто обосновать историческую закономерность капитализма, но и показать также всю сложность и противоречивость его развития в конкретно-исторических условиях пореформенной России, а это требовало, в свою очередь, проникновения в коренную суть социально-политических процессов, глубокого понимания реального соотношения классовых сил, их творящих. Кроме того, было исключительно важно осмыслить революционный опыт прошлого, чтобы использовать его в новых исторических условиях, в том числе и опыт практической борьбы и организационных исканий [44]. Именно этот опыт нашел свое практическое применение в создании марксистами-ленинцами революционной партии нового типа. Эти обстоятельства и объясняют тот большой интерес к передовой общественно-политической мысли предшествовавшего этапа, который неизменно сопровождал теоретическую деятельность русской социал-демократии.

Следует помнить также, что интерес и внимание русских социал-демократов к революционно-демократическому движению всегда сопровождались острой полемикой с народниками, развенчиванием их ненаучных идеалистических трактовок процесса исторического развития, значительно утративших к концу XIX в. свою относительную прогрессивность и историческое оправдание.

Таким образом, попытка извратить суть ленинизма, оторвав его от марксизма и изобразив непосредственным преемником идейно-теоретического багажа русской революционной демократии, является основной целью современных буржуазных ученых, занимающихся исследо-

---

[44] В данном случае мы имеем дело с практическим применением ленинского исторического метода исследования, требующего изучать всякое общественное явление не изолированно и не просто во временных рамках, но во всем многообразии его связей с другими явлениями и процессами. (Подробнее см.: Могильницкий Б. Г. Исторический метод в произведениях В. И. Ленина: Дооктябрьский период. — В сб.: Проблемы истории русского общественного движения и историческая наука. М., 1981, с. 155—163).

ванием истории русского революционного освободительного движения XIX в. Этот доминирующий в западной историографии подход, разумеется, не исключает полностью наличия других концепций, по-иному трактующих коренную суть ленинизма [45].

Так, в частности, существует точка зрения, согласно которой ленинская революционная теория укладывается в русло «ортодоксального» марксизма. Однако и в этом случае остается неизменной главная политическая задача — дискредитировать ленинизм как теорию и большевизм как политическое течение. Лишь несколько меняются акценты, а именно: исследователи стремятся изобразить саму марксистскую теорию ненаучной, софистической доктриной, обладающей способностью существенно изменяться в своем содержании в зависимости от конкретных исторических условий [46].

Задаче дискредитировать ленинизм, изобразив его проявлением чисто русской сектантской революционной традиции, лежащей в стороне от движения масс, служат также попытки буржуазных авторов характеризовать русское революционно-демократическое движение как нигилистическое. Такая оценка революционного демократизма преследует в настоящее время также и другую цель — доказать, что, будучи негативистским в своей основе, оно несло в себе истоки современного политически немотивированного провокационного терроризма. Не случайно с течением времени все более выраженной становится тенденция распространить понятие «нигилизм» на все революционно-демократическое движение в целом, зачислив в ряды «нигилистов» всю русскую радикальную интеллигенцию.

Так, если М. Карпович, например, считал возможным относить к «нигилистам» лишь отдельных представителей революционного движения 60-х гг., которые, по его мнению, ставили своей целью только «освобождение личности» и вовсе не занимались поисками решения со-

---

[45] Подробнее см.: Игрицкий Ю. И. Против ложного истолкования ленинизма. — Вопросы истории, 1977, № 1, с. 195—196.

[46] См. напр.: Ulam A. The Unfinished Revolution, p. 3; Idem. The Bolsheviks. The Intellectual and Political History of the Triumf of Communism in Russia. N. Y., London, 1965, p. 145.

циальных проблем [47], то Р. Хингли склонен употреблять термин «нигилист» в качестве синонима понятий «радикал» и «революционер» [48], утверждая при этом, что такое определение нигилизма является «общепризнанным» в западной историографии [49].

Конечно, интерпретация содержания понятия «нигилизм» у разных ученых неодинакова. Она прямо соотносится с основными течениями, обозначившимися в современной буржуазной историографии русского революционного демократизма. Одни исследователи (Р. Хингли, С. Томпкинс, А. Улам, Б. Пейерс, Р. Пайпс) представляют его прежде всего как явление в своей основе антисоциальное, заключающее в себе пафос всеобщего негативизма (отрицание ради отрицания) и не содержащее никаких позитивных потенций. Для других (И. Берлин, Н. Рязановский, А. Вусинич) нигилизм — одна из черт революционного демократизма, одно из проявлений его, вылившееся в отрицание существовавшей нравственности во имя торжества неких новых (весьма туманно определенных теоретически) этических норм, присущих столь же туманно представляемому будущему. В обоих случаях, однако, авторы отталкиваются от характеристики революционно-демократической идеологии как беспочвенного неприятия действительности во всех ее проявлениях с целью осуществления некой абстрактной и потому не выражающей интересы народа и государства мечты.

Трактовка нигилизма как всеобщей отрицающей силы, силы мрака и разрушения содержится в работах, авторы которых стремятся изобразить как нигилистическое все русское революционное освободительное движение. Они видят в нигилизме полное отрицание морали и этики, самонадеянную и циничную в своей слепоте и самообмане силу, которая не могла принести России ничего, кроме вреда [50], проявление «мелодраматической

---

[47] Karpovich M. Imperial Russia. 1801—1917. N. Y., 1932, p. 44.

[48] Hingley R. Nihilists: Russian Radicals and Revolutionaries in the Reign of Alexander II (1855—1881). N. Y., 1969, p. 121.

[49] Ibidem.

[50] Tompkins S. The Triumpf of Bolshevism. Revolution or Reaction? Norman, 1967, p. 297.

истории», отразившей столь же мелодраматический страх правительства перед народом [51].

Пытаясь изобразить русское революционно-демократическое движение как движение нигилистическое по своей сути, буржуазные авторы проявляют необычайную изобретательность, переходящую в откровенную фальсификацию революционного прошлого России.

Наиболее распространенным приемом такой фальсификации является стремление представить С. Г. Нечаева типичной в истории русского революционного движения фигурой, выражающей его реальную нравственную суть [52]. Этот тезис широко варьируется в работах современных буржуазных исследователей, настойчиво стремящихся доказать, что «иезуитские методы» действий Нечаева оказали большое влияние на революционно-демократическое движение. Вопреки хорошо известным фактам [53] они утверждают, что «техника» Нечаева использовалась революционерами (хотя и не всегда осознанно) в своих практических акциях и что позже эти методы были заимствованы большевиками [54].

Для достижения своих целей (не только изобразить большевиков в качестве преемников Нечаева, но и доказать, будто в русском революционном движении коренятся истоки современного политического терроризма) буржуазные историки не ограничиваются одним лишь обоснованием ложного тезиса о широком распространении методов Нечаева в революционно-демократической среде. Они пытаются дать своего рода теоретическое

---

[51] Ibidem.

[52] М. Правдин утверждает, в частности, что русское революционное движение имело больше общего с Нечаевым, чем с каким-либо другим деятелем, восприняв его технику конспирации, тактику и методы действий (Pravdin M. The Unmentionable Nechaev. A Key to Bolshevism, p. 7).

[53] Нельзя не удивляться при этом той настойчивости, с которой они игнорируют эти факты, а также выводы, содержащиеся в работах советских ученых, убедительно доказавших, что одной из традиций русского революционного движения была традиция борьбы с «нечаевщиной» (Володин А. И., Корякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Чернышевский или Нечаев? М., 1976, с. 274).

[54] См., напр.: Wren M. The Course of Russian History. N. Y., 1958, p. 428; Pravdin M. Op. cit., p. 7; Methvin E. The Rise of Radicalism. The Social Psychology of Messianic Extremism. Arlington House, 1973, p. 196; Ulam A. In the Name of the People, p. 142.

обоснование этому-выводу, утверждая, что «нечаевщина» не была и не могла быть чем-то принципиально чуждым революционному движению своего времени, но, напротив, явилась доведением революционной этики до ее логического конца [55].

Причины этого заключались, по их мнению, в том, что исходные теоретические позиции Нечаева были не просто обобщением («рационализацией») его личностного опыта, но, как утверждает М. Конфино, опыта, имевшего социальное значение, поскольку Нечаев представлял типичную для революционного движения фигуру — фигуру разночинца, поэтому его руководящие принципы заключали в себе начала, общие для всего революционно-демократического движения [56]. Развивая мысль Конфино, другой американский ученый, В. Мак-Клеллан, усматривает причину популярности Нечаева в том, что его взгляды представляли собой «неустойчивую амальгаму» (историк называет ее «демократическим деспотизмом»), которая вобрала в себя элементы разных течений революционной демократии, поэтому-то они и отвечали различным вкусам и требованиям разных представителей движения [57].

Любопытную попытку дать историческое обоснование трактовки русского революционного нигилизма как всеобщего, абсолютного, иррационального негативизма предпринял в своей недавней работе А. Улам. Он утверждает, что в своем начальном проявлении нигилизм революционеров-демократов был чужд всеобщего отрицания и анархии [58]. «Стереотип» нигилиста начала 60-х гг.— революционер, которого отличало не только и не столько следование принципу «цель оправдывает средства», сколько сама цель, заключавшаяся в стремлении установить новое общество, светлый, но химерический образ которого был нарисован Чернышевским в романе «Что делать?» [59]. Однако с течением времени в ав-

---

[55] Carr E. Bacunin. N. Y., 1961, p. 391.

[56] Confino M. Introduction to: Natalie Herzen and the Bacunin—Nechaev Circle. London, 1974, p. 22, 23.

[57] Mc. Clellan W. Revolutionary Exiles: The Russians in the First International and the Paris Commune. London, Totova, 1979. p. 194.

[58] Ulam A. In the Name of the People, p. 131.

[59] Ibid., p. 135.

торитарной России все более крепнет убежденность, обернувшаяся «бесспорной догмой», что правительство является «естественным врагом общества»[60]. И тогда нигилизм с логической неотвратимостью превращается в культ мятежа, подчинившего своим целям все революционно-демократическое движение во имя бескомпромиссного отрицания существовавших институтов, политических установлений и узаконенной морали. В ситуации, когда не было и не могло быть реальной позитивной программы, это стремление к мятежу столь же неотвратимо вылилось в практику политического террора и насилия, воспринимаемых временами русским обществом как «естественные события жизни»[61]. Последнее утверждение особенно отчетливо раскрывает главную цель и смысл приведенных рассуждений А. Улама. Они заключаются в том, чтобы доказать, будто насилие и террор изначально предопределены в России ее политическим устройством, иррациональным в своей основе.

Характеристика русского революционного нигилизма как абсолютного негативизма, полностью лишенного конструктивных потенций, совершенно ошибочна. Она не отражает его коренную суть. В действительности в нигилизме русской революционной демократии нашло свое выражение неприятие ею устаревших и отживающих форм общественной жизни ради утверждения новых гуманистических социальных ценностей. Он не имел ничего общего с философским течением нигилизма, пронизанным настроениями безысходности и пессимизма (Ницше, Шопенгауэр и др.), которое оформилось в западноевропейской общественной мысли второй половины XIX в. как отражение социального и духовного кризиса буржуазного общества, ошибочно осознававшегося в качестве кризиса всех общечеловеческих гуманистических ценностей и идеалов[62]. Конструктивный социальный смысл революционного нигилизма был обусловлен общим подъемом духовной жизни русского общества, освободившегося от оков крепостничества и рожденных им предрассудков. Эту действительную суть революци-

[60] Ibid., p. 19, 21, 23.
[61] Ibid., p. 142.
[62] Кузнецов Ф. «Нигилизм» и нигилизм. О некоторых новомодных трактовках творческого наследия Писарева. — Новый мир, 1982, № 4, с. 229—253.

онно-демократического нигилизма, его позитивный заряд видели и хорошо понимали современники, воспринимавшие его прежде всего как «очистительную, беспощадную критику» господствовавших в России крепостнических нравов [63]. «Настоящий нигилизм,— писал С. Кравчинский,— каким его знали в России, был борьбою за освобождение мыслей от уз всякого рода традиций, шедших рука об руку с борьбой за освобождение трудящихся классов от экономического рабства» [64]. Та же мысль выражена и у А. И. Герцена, с присущей ему наблюдательностью и меткостью называвшего «нигилизм» революционеров-шестидесятников «взрывом смеха»— «...странного смеха, страшного смеха, смеха судорожного, в котором был и стыд, и угрызение совести, и, пожалуй, не смех до слез, а слезы до смеха» [65]. И наконец, Д. И. Писарев, первый и главный представитель и идеолог нигилизма в России, писал, выражая основу и смысл своих воззрений: «Не имея возможности переделать жизнь, люди вымещали свое бессилие в области мысли: там ничто не останавливает разрушительной критической работы, суеверие и авторитеты разбиваются вдребезги и миросозерцание совершенно очищается от разных призрачных представлений» [66].

Мы убеждаемся, что стремление буржуазных авторов изобразить русское революционное движение как движение негативистское в своей основе представляет собой очередную попытку извратить действительный смысл русских революционных традиций. Эти усилия преследуют уже более широкую, чем прежде, цель — дискредитировать не только ленинизм и советскую социалистическую систему, но и все международное коммунистическое движение.

* * *

Ускорение темпов и необычайная противоречивость развития современного мира, все сильнее обнаруживаю-

---

[63] Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966, с. 267.
[64] Кравчинский С. М. Соч. М., 1958, т. 1, с. 367.
[65] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1960, т. XX, кн. 1, с. 348.
[66] Писарев Д. И. Собр. соч. М., 1955, т. 2, с. 12.

щие нестабильность капиталистического общества, заставляют буржуазных политиков и социологов настойчивее искать более убедительное теоретическое обоснование его мнимой жизнестойкости и способности к дальнейшему поступательному движению.

В этой связи особенно возрастает их заинтересованность в таком освещении истории, которое бы полнее учитывало социальный опыт настоящего, трактуемый соответственно собственным представлениям об историческом процессе, и тем самым укрепило бы веру в будущее. «Процесс истории уникален, но тем не менее вразумителен»,— поучает, в частности, Р. Дэниельс, один из представителей реакционного крыла американской историографии[67]. Еще более откровенно высказывается по этому поводу другой американский исследователь — Д. Филд. «Профессиональные историки,— пишет он,— создают свою продукцию сообразно субъективным и профессиональным императивам, но также и согласно требованиям общества. Оно нуждается в продукции историка, поскольку ищет подтверждения выношенным им представлениям о самом себе»[68].

Эта характеристика относится не только к прошлой истории капиталистических стран. В равной мере она приложима и к исследованию истории социалистических государств и прежде всего истории России, которая препарируется западными авторами соответственно классовым целям современной буржуазной историографии и пронизана антисоветскими тенденциями.

Связь буржуазной историографии с антисоветизмом обусловлена ее главной социальной функцией — решать стоящие перед обществом идеологические задачи, формируя его социальное сознание. В этой ситуации классовая направленность буржуазной историографии неизбежно рождает двоякую цель: стремление на опыте прошлого доказать жизнеспособность капиталистического строя с логической неустранимостью приводит также к попыткам обосновать мысль о грядущем крахе или,

---

[67] Daniels R. Studing History. How and Why? Englewood Cliffs. 1966, p. 105.

[68] Field D. Reforms of the 1860-s. — In: Windows on the Russian Past. Essays on Soviet Historiography since Stalin. Columbus., 1977, p. 92.

по крайней мере, перерождении его антипода—социализма [69].

Такой подход особенно отчетливо проявляется в работах буржуазных русистов и советологов, посвященных истории нашей страны. Круг проблематики в сфере исследования русской истории определяется прежде всего антисоветской целевой заданностью. При этом наибольшим вниманием пользуются сюжеты, исследование которых диктуется непосредственными задачами политической практики. (Обстоятельство, лишний раз подчеркивающее смысл социальной функции исторической науки). К их числу относится история революционного движения. Все исследования в этой области неизменно направлены на достижение одной общей цели — скомпрометировать революционную борьбу как метод социальной деятельности, доказав ее вред и, следовательно, предпочтительность мирных реформистских преобразований. Заведомая невыполнимость этой задачи заставляет буржуазных ученых искать новые концептуальные схемы, чтобы придать своим исследованиям более убедительный характер. В этой связи симптоматичным является рост внимания буржуазных ученых к работам советских историков, обусловленный спросом на конструктивную информацию с целью создания своей собственной исторической теории, которую они пытаются сформулировать на основе междисциплинарных связей и прежде всего связи истории и социологии.

Влияние советской историографии, отчетливо прослеживаемое сейчас в трудах буржуазных ученых, проявляется главным образом в обращении к исследованию общественных отношений, динамике и борьбе социальных классов и групп. Однако, как свидетельствует конкретная историографическая практика, заимствуя из работ советских авторов отдельные выводы и наблюдения, буржуазные историки пытаются приспособить их для опровержения самого марксистского метода классового анализа истории русского революционного движения. Своего рода теоретическим обоснованием такого отношения является тезис известного буржуазного социолога

---

[69] Подробнее см.: Кризис антисоветизма, с. 8; На фронтах идеологических битв: Проблемы идеологической борьбы на современном этапе. М., 1979, с. 170.

Р. Дарендорфа. Призывая историков сомневаться даже в очевидных истинах, он утверждает, что «позиция, которая не пытается оспаривать другую, ей противостоящую, обнаруживает этим лишь свою собственную слабость»[70].

Продиктованные потребностью в более объективном освещении русской истории, отмеченные новации обусловлены в своей основе не только стремлением западных историков придать своим исследованиям более действенный характер в обострившейся идеологической борьбе, но также и состоянием самой буржуазной историографии, не способной дать адекватные ответы на возникающие в мире проблемы. «Никогда прежде,— утверждает, в частности, профессор Иельского университета Дж. Хакстер,— историки не писали так компетентно, серьезно и вдумчиво», и в то же время никогда занятие историей не было столь «пустым и бесплодным»[71].

Новые концепции английских и американских историков, возникшие в последние годы как следствие идейно-теоретического перевооружения антисоветизма, вовсе не означают радикального пересмотра старых теорий периода «холодной войны». И это закономерно. Буржуазная историческая наука в силу своей природы оказывается не в состоянии преодолеть концептуальные рамки классово ограниченного подхода к исследуемым проблемам.

Рассмотренный материал убеждает, что те новые сдвиги, которые наблюдаются в последнее время в буржуазной исторической науке, есть лишь тщетное выражение стремления сбалансировать историографию как целостную систему, чтобы обеспечить недостающую ей стабильность и увеличить эффективность ее идеологической роли.

Исследование буржуазными учеными истории русского революционного демократизма подтверждает кризис теоретико-методологических основ современной буржуазной историографии, что, в частности, нашло свое выражение в их неспособности осмыслить на концептуаль-

---

[70] Darendorf R. The Intellectual and Society: (The Social Function of the «Fool» in the Twentieth Century). — In: On Intellectuals. Theoretical Studies, Case Studies/Ed. by Rieff. N. Y., 1970, p. 55.

[71] Hexter J. Some American Observations. — In: «The New History» Trends in Historical Research and Writings since World War II. N. Y. and Ewanstone, 1967, p. 5.

ном уровне новые факты, положения и отдельные выводы, полученные ими в процессе изучения поставленных проблем. Это привело к тому, что, несмотря на возросшую активность буржуазных исследователей, разрыв между фактологической базой и ее теоретическим обобщением не только остается непреодоленным, но еще более возрастает. Политическая ангажированность буржуазной историографии неизменно порождает ситуацию, когда все ее претензии на беспристрастность и объективность, какими бы широковещательными они ни были, заканчиваются там, где дело касается коренных интересов породившего ее общества. Отсюда следует, что общие суждения о состоянии буржуазной историографии на том или ином этапе ее развития должны в первую очередь учитывать ее подход к наиболее «горячим» для общества проблемам.

И, наконец, анализ работ рассматриваемых здесь историков, которые, надо отдать им должное, сумели весьма актуализировать свои сюжеты, лишний раз подтверждает научное значение классового анализа, отрицание которого неизменно мстит за себя.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава I. **Идейно-теоретические и методологические основы освещения английской и американской буржуазной историографией узловых проблем истории русского революционно-демократического движения** 24

1. «Евразийская» теория 25
2. Проблема соотношения общества и государства в русском историчееком процессе. Концепция «преемственности» и модель «тоталитаризма» 44

Глава II. **Русская революционно-демократическая интеллигенция и мысль в современной английской и американской буржуазной историографии** 63

1. Проблема социальной природы и национального своеобразия русской революционно-демократической интеллигенции 63
2. Причины и условия формирования русской революционно-демократической интеллигенции . . . 79
3. Истоки и своеобразие русской революционно-демократической мысли 98

Глава III. **Новые тенденции в интерпретации английскими и американскими буржуазными исследователями русской революционно-демократической интеллигенции и общественной мысли** 130

1. Проблема формирования русской революционно-демократической интеллигенции 131
2. Психоаналитические концепции причин революционно-демократического движения 140
3. Новые трактовки истоков и национального своеобразия революционно-демократической мысли . 158
4. Проблема идейных влияний Запада 180

Место и роль русского революционного демократизма в оценке современных английских и американских буржуазных историков. (Вместо заключения) 202

Людмила Григорьевна
СУХОТИНА

ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Редактор *Т. В. Зелёва*
Технический редактор *Г. Н. Гридина*
Корректор *Г. Г. Иванова*

ИБ 1079. Сдано в набор 27.10.83 г. Подписано к печати 21.11.83 г. К306258. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 3. Литературная гарнитура. Высокая печать. П. л. 7,25; уч.-изд. л. 12,3; усл. п. л. 12,18. Тираж 500 экз. Заказ 150. Цена 1 р. 80 к.

Издательство ТГУ, 634010, Томск, пр. Ленина, 36.
Тип. «Красн. рабочий», г. Красноярск, пр. Мира, 91.

1-547908

1 р. 80 к.

Томский госуниверситет 1878
Научная библиотека 00577586